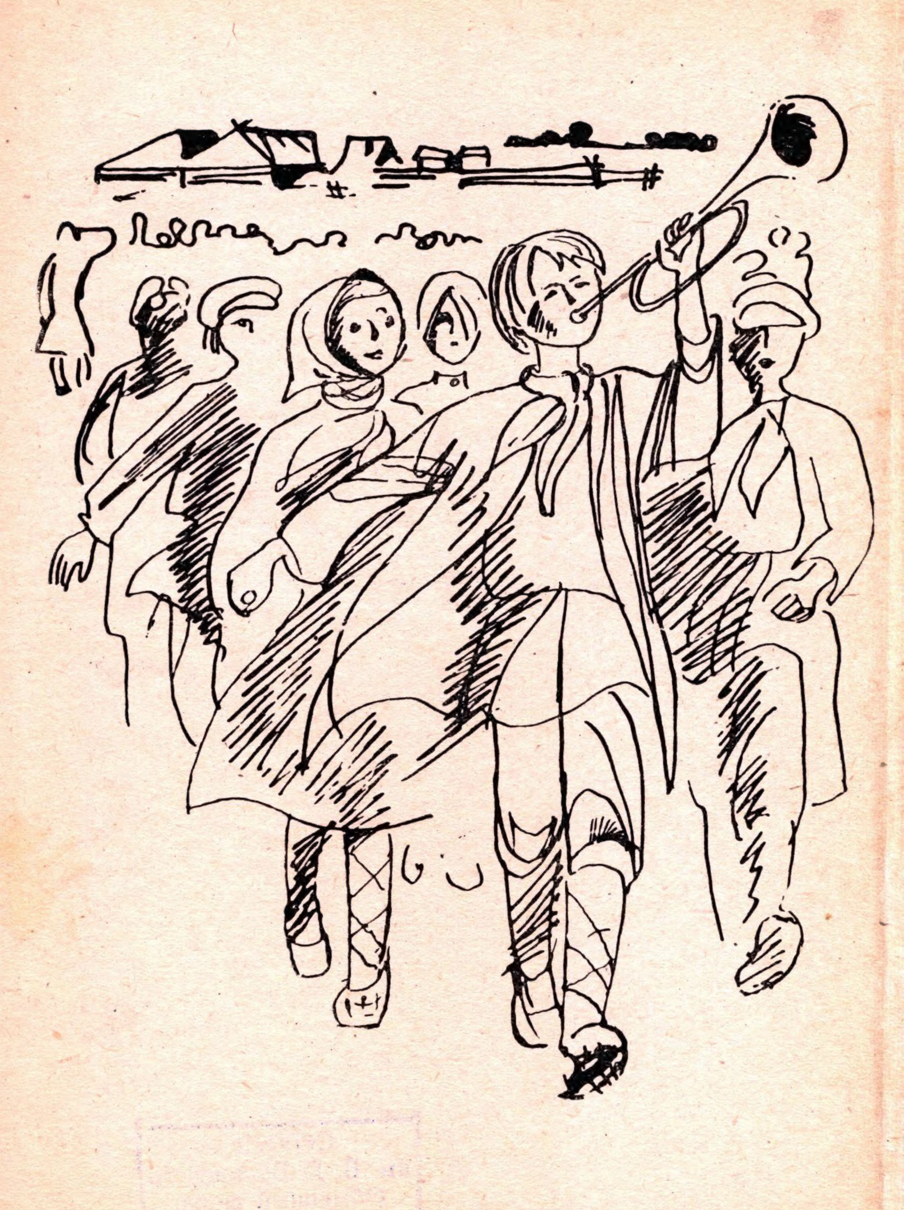


А. Мартынов

ДЕТИ СВОИХ ОТЦОВ



А. Мартынов

ДЕТИ СВОИХ ОТЦОВ

РОМАН

Перевод с эрзя-мордовского
МИХАИЛА АЛЕКСЕЕВА

ИЗДАТЕЛЬСТВО «СОВЕТСКАЯ РОССИЯ»
МОСКВА — 1973

Мартынов А. К.

М29 Дети своих отцов. М., «Сов. Россия», 1973.
224 с.

Роман мордовского писателя рассказывает о становлении Советской власти в далеком селе, где живет юный герой Серега Маркин. Мальчишка из бедняцкой семьи, рано узнавший, что такое социальное неравенство и гнет богатеев, он вместе со своими друзьями-одноклассниками включается в борьбу с остатками белобандитов.

7—3—3
172—73

С(Морд)



часть первая

ГЛАВА ПЕРВАЯ

I

Серега на корточках сидит на подоконнике и дышит на обледенелое стекло. Из проглянувшего крохотного зрачка стекает тоненькая струйка воды. А окно по-медвежьи угрюмое, и кажется, будто по медвежьей лохматой шубе бежит эта шустрая струйка. Серега прильнул рожицей к светлому кружочку и со свистом сосет студеную водицу.

Вай, вай, какая она сладкая и вкусная! Ни из колодца, ни из родника, ни из какого другого источника не пробовал он такой воды. Где там! Разве сыщешь еще этакое чудо! Серега и сам не знает, сколько бы выпил сейчас этой воды, если бы черпал ее из ведра. Потому и облизывает жадно обледенелое, покрытое зеленым снегом стекло, всхлебывает губами, даже мордашка покраснела.

Ледок плавился еще и еще, и перед Серегой открылась заснеженная улица. Он повел глазом вдоль порядка домов, в ту сторону, где садилось солнце, и — замер, пораженный редкостным зрелищем: солнечные лучи полыхали так, будто все небо занялось пожаром. «Что это там так горит? — подумал он, с замиранием сердца глядя в оттаявший пятачок и забыв про сладкую холодную водицу, которую только что слизывал со стекла.— Может, и вправду опять пожар? Опять горит окраина села? Но отчего же не видать суетящихся людей? Отчего нету дыма?»

Мальчик сейчас же вспомнил позапрошлогодний пожар. Сереге было тогда только шесть лет. Село загорелось в пору жатвы. И теперь еще в Серегиных ушах набатный звон самого большого колокола, скликавшего с полей народ.

Тогда по всему селу — кто верхом на лошади, кто пеший, кто на телеге — скакали и бежали обезумевшие люди. На ходу хватали у своих изб багры, топоры, ведра и с бешено бьющимися сердцами, не давая себе передышки, устремлялись по пыльной дороге туда, где с жутким треском горели дома и надворные постройки. Сильный ветер за версту раскидывал пылающие соломенные пучки. Они, словно подожженные грачи, вились, летали над

избами и дворами, над сучкастыми ветлами и вязами, опускались на них, и тогда огонь трещал еще злее, еще яростнее. Отовсюду слышались конское ржание, лай собак, кудахтанье кур, визг свиней. Нечеловеческим голосом выли и причитали женщины, плакали дети.

Перепуганные, люди не знали, что делать, за что браться. Они уже не тушили пылающие дома, да и подойти к домам было невозможно — не подпускало беснующееся пламя. Не помогли и великаны деревья. И они сдались и склонили зеленокудрые свои головы перед осатаневшей стихией огня. Сникли, почернели эти ветлы и вязы, опустились, будто перебитые руки, их некогда упругие ветви.

Люди метались, ближние к пожарищу волокли из домов на середину улицы свой скарб, а другие с ведрами стояли на крышах изб, сараев и хлевов, ловили и тут же гасили горящих «грачей».

Серега сидел тогда посреди улицы на пустом сундуке и плакал, размазывая грязными ладошами слезы.

Вспомнив сейчас все это, он опять вздрогнул и посмотрел вдоль улицы, которая вроде уж стала заполняться дымом. Ему показалось, что и люди появились там. Вон они бегают с баграми и ведрами. Теперь он уже не сомневался, что это пожар. Испугавшись, отпрянул от окна.

— Мамань! Ма! Иди-ка сюда! — размахивал он руками.— Глянь-ка, там пожар!

— Что болтать-то! Где, какой пожар?

— Глянь вот в эту дырочку. Вона! Видишь, все горит, и дым валит, и люди там бегают,— показывал мальчик на золотое от солнечных лучей пятнышко в окне.

Мать посмотрела:

— Эх, дурачок ты дуралей! Это же тучи так горят. А дым — он из труб. Люди голландки затопили.

— А почему тучи горят? Разве их кто-нибудь поджег? — не унимался Серега.

— Солнце так ярко горит и тучи от него. Завтра мороз будет,— нехотя ответила мать и вышла в заднюю избу.

В это время Серегин отец принес со двора вязанку соломы и бросил на середину комнаты. Вязанка была обжигающе холодна, кое-где к соломинкам прилипли, точно обсосанные леденцы, кусочки смерзшегося снега, по всей избе тотчас же распространился свежий запах захо-

лодавшей соломы. Серега словно бы только этого и ждал. Его точно ветром сдуло с подоконника. Не успел отец развязать вожжи и собрать их в жгут, мальчик скаканул прямо на эту холодную горку. Батюшки мои, чего только он не выделывал на ней! И кувыркался через голову, и вставал вверх ногами, и делал в соломе норы,— изба ходуном ходила от его возни.

Веселое его буйство усилилось оттого, что к нему присоединился поросенок. Тот так носился по избе, так визжал, что хоть затыкай уши. Подскочит в озорстве к коробке с куделью, притулившейся в углу, выхватит оттуда мочку и давай по-собачьи трясти ее в зубах туда-сюда. От всего этого Серега приходил в неистовство, бегал за поросенком, тянул кудель, ударялся при этом сильно то об угол стола, то о скамейку, но боли не чувствовал, не жаловался, не плакал.

II

Незаметно и солнце закатилось. В доме стало темно, но огня еще не зажигали, да и голландку топить не торопились: до утра еще выдует.

— Ах, батюшки-светы! Во что превратил избу... Ну, что ты бесишься? — всплеснула руками мать, когда зашла в переднюю избу.

Серега приутих. Остановился и поросенок. Он глядел теперь на хозяйку, подняв красный пятачок и как бы желая понять, о чем это она там судачит. Затем раза два взвизгнув и хрюкнув, пошел кружить возле нее, как бы приглашая и ее поиграть. Серега опять громко засмеялся.

— А вот похохочи у меня еще! Я вот возьмусь за тебя! — сердито сказала мать.— Сейчас же собери солому в кучу! — Она вынула из лампы закопченный пузырь, потом из соломенной кучи взяла пучок, просунула в пузырь и стала его протирать. Одной и той же спичкой сперва зажгла голландку, а потом — лампу, и со светом вышла в заднюю избу.

— Ма-ам! Зачем унесла лампу? Тут темно, я боюсь без огня-а-а! — захныкал Серега.

— Не велик барин, посидишь и так. Не в лесу, чай, один остался, волки не съедят. Вон топи голландку да, гляди, пожара не наделай! — уже из задней избы слышался голос матери.

Слово «пожар» опять заставило Серегу встрепенуться. Чтобы как-то отделаться от этой пугающей мысли, он собрал разбросанную по всей избе солому в одну кучу и присел к печке. Вскоре к Сереге припожаловал и поросенок. Красным и жестким пятачком боднул его ноги и прилег перед жарко попыхивающим зевом голландки рядом с молодым хозяином.

Серега подсовывал помаленьку солому и не отрывал взгляда от огня. Яркие язычки пламени норовили высунуться из печи и лизнуть ее закраинки, а затем, может, и уползти по ее стенке выше. Отогретая солома будто ожила, она с едва слышным шорохом подтягивается, подбирается к отверстию очага, словно бы ее кто подманивал туда. Огонь гудел, задыхался в тесноте. Вскоре вовсе обессилел и стал угасать. От соломы оставался один жар, и полыхал он так ярко, что слепил глаза. Потом по жару этому прошла какая-то прозрачная пелена, она то побледнеет, то покраснеет, и думалось, что огонь, наработавшись всласть, теперь отдыхая, часто дышит. Огонь, однако, умирал где-то под этой прозрачной пеленой, зарывался, пропадал под дрожащим дымчато-сероватым пушком.

С жадным любопытством смотрит на все это Серега, что же это значит, отчего это: то красные, то белые огоньки, и вот уж только зола? И что же такое огонь? Совершенно беззубый, он пожирает солому. Что солому! Дерево, которое даже Серега,— на что уж молодец,— не может свалить, а огонь изничтожает запросто. Огонь может спалить даже дом, превратить в прах, в уголь, хоть он, огонь этот, не живет и не растет, как живут леса, растут деревья.

«В чем дело?» — не может понять Серега. Он еще глубже погружается в свои думы и все подсовывает пучки соломы в голландку.

Серега набил соломой полный рот голландки и, размечтавшись, принялся почесывать поросенку бока. Тому это нравилось. Сладко потянувшись, поросенок стал похрюкивать от удовольствия. И как раз в это время в трубу так дунул ветер, что из печи вымахнул сноп огня и дыма. Серега не успел еще как следует сообразить, что же произошло, как изба наполнилась дымом, поросенок с визгом сорвался с места, побежал до ножки стола и принялся что есть силы чесать бок. У самого Сереги опалило волосы надо лбом и брови. Пока он обмахивал лицо ру-

кой, около печи занялась солома. «Это же пожар!» — обожгла Серегу страшная догадка. Но он не растерялся, мгновенно сгреб двумя руками горящую солому и запихал ее в голландку. Солома весело затрещала там. Повеселел и Серега. «Ага, огонь тоже можно победить! Не только ему всех побеждать!» — радовался мальчишка, а по избе волнами плавал синий дымок.

В переднюю все не вносили лампу. Но, сидя у печки, Серега не замечал темноты: не мигая, смотрел на жарко горящую солому. Но что это полыхает там, за спиной? Сереге давно хотелось обернуться и поглядеть, но он все время охранял голландку. В конце концов все-таки повернул голову, но так и не понял того, что увидел: по стенам, по замерзшим окнам и по потолку полыхали большие красные полотнища, временами то багровея, то совсем тускнея. Серегу будто подбросило. Он подскочил к стене и стал ощупывать: не загорелась ли?

III

Открылась дверь, и в комнату вошел Петр Андреевич Камакшев. На нем длинная шинель без погон. На голове папаха с пятном от кокарды. Через плечи перекинуты ремни от винтовки и шашки. Петр Андреевич сперва снял винтовку, а потом шашку, поставил их в пустой угол избы и стал расстегивать пуговицы шинели. Остался в кителе из зеленого сукна, перепоясанном широким ремнем. К ремню был прицеплен наган в кобуре. На высокий лоб Камакшева свисали колечки русых волос. Нос малость продолговатый, глаза карие, лицо чистое. Только усы немного желтоватые.

— Ты что это, Серега, стены ощупываешь? — спросил он мальчишку.

— Чего? — испуганно переспросил тот и повернулся от стены.— Это я так... Думал, тут платки красные... но ничего нету, все гладко. И все-таки плящут. Почему так?

— Не понимаешь? А ну посмотри сюда! — Дядя Петя опустился на одно колено у голландки и кочергой стал ворошить горящую солому. От яркого пламени на стене заволновались красные полотнища.

— Ничего не вижу,— сказал Серега.

— Ты гляди туда,— Петр Андреевич показал на стену.— Видишь, как колышутся, словно знамена! Вот такие

же зарницы были когда-то от горящих помещичьих усадеб. За сто вайгельбе[1] видны были те зарницы, горели у всего народа на виду, и люди стекались к ним. А когда подходили, огонь превращал зарева в красные знамена. Люди брали их в руки, высоко поднимали и несли. И теперь не только у нас в Сивеньках, но по всей стране плещут те красные знамена. Так-то вот. А ты знаешь, кто первый поднял эти полотнища? Не знаешь? Тогда слушай: мы, большевики. И прежде всех Ленин. Владимир Ильич Ленин. За это его царские жандармы и в Сибирь ссылали, и в острог сажали, чуть не убили — стреляли в него, ранили. От этой раны он и сейчас болеет. Слышал что-нибудь о Ленине?

— Нет. А ты, дядь Петь, видел его, Ленина?

— Приходилось видеть, и не раз. И тебе его покажу. Поди-ка сюда, Сергей! — И из внутреннего кармана кителя Петр Андреевич вытащил пачку всяких бумаг. Среди них была фотография Ленина.— Вот видишь? Это и есть Ленин. На, бери. В подарок тебе принес.

— Ле-нин,— недоверчиво произнес Серега.— Это просто картинка — и все. Ты живым-то его видал?

— Я ж тебе сказал, что встречался с ним.

— Где?

— В Петрограде, в Смольном.

— А что это такое — Смольный?

— Это, брат, дом такой, целый дворец в городе Петрограде. Понял? Ну вот и хорошо. А теперь давай-ка поместим Ильича среди других ваших фотографий — прямо в рамку.

Петр Андреевич тут же все это и сделал.

Серега подошел к стене, встал перед фотографией и стал рассматривать ее.

— Ле-нин,— еще раз, но очень тихо повторил он.— Теперь я завсегда буду на него глядеть.— Немного постоял молча, подумал о чем-то и спросил: — Дядя Петь, а зачем вчерась из Куштаева амбара брали хлеб?

— Так нужно, Сергей. Без хлеба сейчас — ни революции, ни социализма. Мы вот тут в своем селе едим хлеб без всяких примесей, можно сказать, калачи, а в Петрограде, Москве, да и в других городах рабочие голодают,

---

[1] Вайгельбе — расстояние, до которого слышится человеческий голос, равное примерно версте. За сто вайгельбе, то есть за сто верст. (Здесь и далее примечания автора.)

и Ленин вдоволь хлеб не ест, и армию нашу надо кормить. Одни живут впроголодь и все-таки строят новую жизнь, а другие только мешают, прячут хлеб от трудового народа — все эти Куштаевы, Солдатовы да Тетеревы. Мы взяли у них лишний хлеб для рабочих и красноармейцев. Чего же тут плохого? Твой-то вот отец не поскупился для родной Советской власти, отдал излишки, а те попрятали. Вот и пришлось у них взять. Так наказывали нам голодные рабочие, большевики. Так наказывал Ленин. А иначе нельзя. Без хлеба нам не осилить, не одолеть врага, не спасти новую власть. Так-то вот, браток,— тоже тихо говорил и говорил Петр Андреевич, как бы размышляя вслух, потому как мальчишка не мог понять того, почему живут голодными рабочие в Москве, почему без хлеба нельзя одолеть врага — не караваем же его бьют?

Не понимая всего этого, Серега посмотрел в угол, где стояли винтовка и шашка. Ему и прежде приходилось видеть их, но так близко — ни разу. Винтовка! Серега был бы, верно, самым счастливым человеком на всем белом свете, если б ему разрешили хоть одним пальчиком дотронуться до нее.

— Дядь Петь, а она не бабахнет... сама? — спросил он Камакшева, отыскав наконец повод, чтобы только заговорить о винтовке.

— Сама не бабахнет. Но коль будешь с нею баловаться, может и стрельнуть. Смотри, браток...

— Дядь Петь, а у Ленина есть ружье?

— Есть, Серега, есть. Как же ему без него? У него ружье похлеще моего, дальнобойное, за тыщи верст стреляет.

Серега очень удивился этим словам, но расспрашивать больше не стал — постеснялся. Опять посмотрел на винтовку.

— А зачем оно тебе — ружье?

— Эх, Сергей, все-то ты знать хочешь! Погоди маленько, подрастешь, сам скумекаешь, для чего людям ружье. На войне из него убивают врагов, а теперь... даже вот хлеб у кулака не отымешь без ружья-то.

— Кулак? Что это такое? — но, не дожидаясь ответа, Серега сам же и пояснил: — Это вот ежели сжать хорошенько пальцы — и будет кулак. Вот он какой у меня, глянь!

— Немножко не то, Сергей: Кулак — это такой бога-

тый дядька, который держит работников, заставляет их от зари до зари трудиться на себя, который может в любую минуту ни за что ни про что по шеям тебе надавать, который от голодных людей хлеб прячет. Вот это и есть кулак. Но мы его...

Петр Андреевич не договорил, Серега остановил его новым вопросом:

— Дядь Петь, а как оно стреляет?

— В доме этого не делают. Ну, разве для тебя только...— Петр Андреевич взял винтовку, вытащил из нее обойму с патронами и стал показывать, как изготовить ее к стрельбе. Осторожно передал Сереге.

— Ну, держи. Вот так ее берут, а целиться нужно вот так. Видишь вот эту штуку? Мушкой ее зовут. А это — затвор.

Чуть дыша, взял Серега винтовку, которую едва удержал в руках, и так и этак начал прилаживаться щекой к ее ложу.

Как раз в эту минуту из задней избы вошла Серегина мать с лампой. Завидя в руках сына винтовку, она едва не выронила светильник. Испуганно закричала:

— Сергей, что ты делаешь, озорник?! Вай, вай, Петя, сейчас же отыми у него ружье!

Сереге понравилось, что так напугал мать, и он нарочно развернулся и направил ствол прямо на нее, воскликнув при этом воинственно:

— Застрелю, мам, застрелю!

— Сейчас же положи ружье! Петя, а ты чего глядишь?

— Не бойся, тетя Проска, оно не заряжено,— виновато улыбался Петр Андреевич,— давай Серега, поставим на место, а то обоим нам попадет от твоей мамки.

— Откуда мне знать, заряжено или нет. Ружье иной раз и незаряженное стреляет,— вешая лампу на крючок под потолком, ворчала мать.

Со двора вошел Серегин отец, и сын сейчас же повел его к стене, где висел портрет Ленина.

— Пап, узнай, кто это?

Константин Павлович пожал плечами, делая вид, что совершенно не знает этого человека.

— Старичок какой-то.

— Ха-ха! — торжествующе засмеялся Сергей.— Сам ты старичок! Это же Ленин! Дядя Петя в подарок мне привез. Во!

— Ну что ж, сынок, храни этот портрет,— взволнованно сказал отец и погладил сына по голове.

После ужина Серега устроился на печке рядышком с дядей Петей, долго ворочался с боку на бок, расспрашивал все о Ленине: что же все-таки это за человек такой, играл ли дядя Петя с ним в козны, и ловок ли Ленин в этой хитрой игре.

Петр Андреевич терпеливо отвечал и не приметил, как погрузился в сон. А Серега заснуть не смог. Перед его широко распахнутыми глазами попеременно возникали то винтовка, то портрет Ленина, то колышущиеся красные полотнища на стенах, то желтые усы дяди Пети. В конце концов заснул и он и сейчас же увидел во сне какого-то страшного человека, изо рта которого с дымом вымахивал огонь. Серега вмиг очнулся и задрожал. Он хотел слезть с печки, но спросонья никак не мог отыскать выхода: куда ни ткнется руками, всюду стена. От его возни проснулся и дядя Петя. Обнял Серегу и опять уложил рядом с собой.

ГЛАВА ВТОРАЯ

I

Петр Андреевич Камакшев в свои двадцать пять лет успел уже хлебнуть житейского лиха. Семигодовалым мальчонкой остался без матери. Хоть Петя был в семье единственным ребенком, нужда была полновластной хозяйкой в их доме и посылала родителей на поклон к барину. Мать его, Пося, статная, сильная, красивая женщина, смолоду трудилась в имении помещика Кедярова, вместе с другими батрачками доила коров, выпаивала телят, кормила свиней. Минуту присесть не могла — не было такой минуты. А муж ее, Андрей Степанович Камакшев, орудовал кувалдой в барской кузнице. Вдвоем старались прикопить деньжонок, купить лошадь, обзавестись своей кузницей и навсегда уйти от кровососа-барина. Но мечта эта так и осталась мечтой, жизнь тянулась от одной нужды к другой: только одолеешь одну, а на пороге уже другая, еще более горькая. Самая большая беда объявилась в апреле 1900 года.

На фермах Кедярова приспела пора отелам и опоросам. Пося не знала покоя ни днем ни ночью. За каждым появившимся на свет теленком или поросенком нужен глаз да глаз. Как ни старалась молодая женщина поспеть всюду, за всем доглядеть, однажды умаялась так, что во время сильного бурана заснула в караулке возле свинарника.

Утром, на зорьке, управляющий барским имением Носкин поднялся в самом добром расположении духа. Пропустил на похмелку стопку водки, закусил солеными грибами, проворно оделся и, довольно потирая руки, ушел осматривать фермы. Сперва открыл свинарник, просунул в дверь голову с приготовленной загодя улыбкой — надеялся увидеть Посю. И тут прищуренные глаза его превратились в лягушачьи, так они выпучились. И было от чего: прямо перед ним огромная, как бегемот, и такая же жирная свинья пожирала на свежей соломе собственных, только что рожденных ею поросят.

«Ага, Посинька спит!» — подумал он вроде бы даже и не со злостью, а скорее с радостью и бегом направился к караулке. Тихонько приоткрыл дверь, заглянул. Глаза его при этом прищурились, а под конец опять по-лягушачьи вытаращились: на широкой скамейке спала Пося. Носкин на цыпочках, покачиваясь, точно селезень, вышел из дежурки и что есть духу помчался докладывать Кедярову.

Прибежал к барину в тот момент, когда тот уже позавтракал и осматривал ружье, собираясь, видимо, на охоту.

— Пал Палыч, беда! Йоркширская свинья опоросилась и жрет своих же поросят. А Пося дрыхнет в караулке,— запыхавшись, крестясь, торопливо докладывал Носкин.

Лицо барина мгновенно налилось кровью. Он схватил шапку, на бегу накинул шубу и кинулся с ружьем к ферме. Бежавший впереди, точно пес, управляющий первым вскочил в помещение, показал ему на свинью, которая к этому времени расправлялась с последним поросенком.

Кедяров не справился со злостью — пристрелил свинью. От выстрела Пося встрепенулась, на пороге встретилась с барином. Ярость его достигла крайней степени и оттого, что сам не удержался и прикончил породистую свиноматку, приносившую ферме наибольший

приплод. Приклад ружья со страшной силой опустился на голову молодой женщины, та растянулась на пороге и больше уже не встала.

II

Помнит Петр Андреевич, как хоронили мать. Она лежала в гробу посредине комнаты. В маленькую избенку кузнеца приходили соседки. Каждая несла в мисочке, спрятанной под фартуком, либо горсть мучки, либо пяток сдобных лепешек, либо ситного хлебца ломоть, или там крупицы, блинчиков, или еще чего-нибудь. У изголовья покойной, мигая, горела свеча. Пели певчие. От их голосов в божнице, против икон, вздрагивал слабый огонек лампадки.

Андрей Степанович Камакшев, отец Петра, точно окаменелый, стоял над гробом жены. Он не плакал, лицо его пожелтело, нос удлинился, глаза глубоко провалились.

Барин и его управляющий Носкин пустили слух, будто Пося в темную ночь стукнулась лбом о столб и тут же скончалась. Для подтверждения и распространения такой версии подкупили и свидетелей. Но отец Петра знал, отчего умерла его жена, да никому не сказывал: барин всегда окажется правым. Кузнец сейчас только грыз губы и сумрачно глядел в одну точку.

Посю хоронили всем селом. Помнит Петр, что это было в самый разлив: по улицам текли ручьи — ни пешком пройти, ни на санях проехать, ни на телеге. У всех была одна забота: как переправить покойницу на кладбище, которое выглядело островком среди полой воды. И после разлива туда не скоро можно было добраться: кругом болото. Правда, к троице всем миром-собором устраивали переход, бутили хворостом топь, валили солому, насыпали сухой земли, бросали жерди. Тогда люди как-никак докарабкивались до кладбища, чтобы помянуть дедов-прадедов. А что делать сейчас, в самый разгар половодья? Не закапывать же покойницу во дворе!

Помнит Петр и то, как гроб с телом матери вынесли из дому, как похоронная процессия пошла по проулку, потом вышла на главную улицу, которая вела к кладбищу. Впереди самый здоровенный мужик нес массивный крест, выпрошенный у церкви. За ним несли крышку гроба. Затем с кадилом вышагивал поп. Полы рясы подоткнуты под ремень. А за гробом, который несли высоко

на своих плечах самые близкие друзья кузнеца, пошатываясь, будто пьяный, шел Андрей Степанович. Рядом с ним, вытирая слезы, семенил Петя и двигались односельчане. Позади везли на дровнях дубовый крест.

Не забыть Петру и того, как вдоль улицы, почти у каждой избы, стояли скамейки, накрытые полотенцами, а перед ними — столы под белыми холщовыми скатертями. На столах — большие ковриги с воткнутыми в них свечами. Около хлебов солонички. На каждую такую скамейку на какое-то время ставили гроб, тут же попик торопливо читал молитву, махал кадилом, а певчие из церкви так жалостливо и трогательно пели «Вечная память», что люди плакали.

Но вот процессия остановилась, завидев кладбище. Дальнейший путь ей преграждала полая вода. Но и тут селяне не оставили своего кузнеца одного. Рыбаки и охотники пригнали свои лодки. На самой большой установили гроб, рядом примостились Андрей Степанович, Петя, гребцы. Другие лодки заполнились односельчанами,— и пошла, поплыла эта странная и печальная «флотилия» по бушующему потоку. А те, что остались на берегу, рыданием, плачем, маханием рук провожали Посю в последний путь.

Долго стоял кузнец над свежей могилой. Кто знает, может быть, он давал тогда молчаливую клятву отомстить барину...

После поминок остался Андрей Степанович в осиротевшей избе со своим горем да малым сыном Петей. В ту ночь долго не смог заснуть. До самого рассвета все думал: как же ему теперь быть? Каких только дум не передумал он, каких видений не перевидал! Чаще всего перед его глазами из темноты возникала Пося — то в девичьем своем наряде, то такой, какой она была уже в его доме. Вспомнилось и то, как они впервые встретились, и то, как ее, девчонку, хотел обидеть кулацкий сын, и первые дни их совместной жизни, работу у барина Кедярова. «Лучше камни ворочать, чем жить среди этих волков»,— вспомнил он слова жены. «Конечно, надо бы взять ее оттуда, пускай бы мы безлошадными жили: моим рукам все впрок, чего хочешь могу сделать. А теперь ни жены, ни лошади. Отчего же я не послушался Посю? Почему?» — думал кузнец. Но что же все-таки делать? Поси не вернешь. А жить надо. И начинать ее надо сызнова. Но как? С чего?

Частенько поглядывал на барское имение — все ждал, что оттуда — вся в слезах — выбежит навстречу жена.

Между тем затаившаяся в груди обида накапливалась, росла. Работал в кузнице помещика, казалось, с еще большей яростью. И не искры уже летели из-под молота, а горячие слезы, которые бежали по щекам жены, и удары молота обрушивались не просто на раскаленную железяку, а на нечто враждебное и ненавистное. «Нашелся бы смелый человек да подпалил бы имения богачей, люди все, как есть, схватились бы за молотки, топоры, вилы,— горячечно думал он, вкладывая в очередной удар всю неутоленную жажду мщения.— И бей, пока железо горячо!»

Так рассуждал он часто сам с собой, а потом осторожно и со своими товарищами, которым давно хотелось поквитаться с Кедяровым.

Прошло пять лет. До села докатывались слухи о том, что во многих местах крестьяне громят помещичьи усадьбы, что в Петербурге, Москве и в других больших городах начинается революция. К тому времени вокруг Андрея Степановича уже сплотились верные люди. Они-то и решили однажды, что приспела пора вернуть Кедярову «долг». В одну из самых темных ночей вспыхнуло барское имение — это было сигналом к тому, чтобы всем селом навалиться и разворошить осиное гнездо. Вызванные местными властями казаки подавили бунт. Во время перестрелки многие жители села были перебиты, многие арестованы и отправлены в острог.

Среди убитых был и Андрей Степанович Камакшев.

III

Так двенадцати лет от роду Петя остался круглым сиротой — без отца, без матери, без роду и племени. Но свет не без добрых людей. Отыскались они и для Пети, не дали ему пропасть: его приютили родители Сереги, Константин Павлович и Прасковья Карповна Маркины, у которых тогда еще не было своих детей.

Понятно, что это пришлось не по нутру сельским богачам, и те грозили Константину Павловичу расправой за то, что пригрел-приютил сына разбойника Камакшева. Однако дальше угроз дело не пошло. Про Петю постепен-

но забыли, и он жил у Маркиных, как родной сын, до призыва в солдаты. Зимой ходил в церковноприходскую школу, где у него был хороший друг — Гава Капитанов, отец которого служил церковным старостой. Это были первые ученики в классе, читали много разных книг. Не упускали случая, чтобы поиздеваться над туповатыми, тугими к наукам сынками богатых односельчан, по два, по три года отсиживавших в одном классе.

На улице, на берегу Медведицы, в других ли каких местах — всюду Петю и Гаву можно было видеть вместе. Вместе ушли и в царскую армию, служили в одной роте в империалистическую войну. Но там, на войне, и начали расходиться их пути-дороги. Петр, прочитавший немало большевистской литературы и прослушавший множество речей большевистских агитаторов, всячески убеждал своего товарища, что эта война народу не нужна, что она только разоряет народ, что штыки надобно повернуть против своих буржуев и помещиков и установить в стране новую, народную, власть. У Гавы все получалось наоборот. Горячась, размахивая руками, он кричал, что войну нужно довести до победного конца, что Петр — никакой не патриот, а предатель, потому что самым главным и лютым врагом сейчас является немец, сокрушить которого надо во что бы то ни стало. Мечтающий втайне стать офицером, Гава все время терся среди офицерья и, конечно же, во всем верил ему. Произведенный в унтер-офицеры, Гава в конце концов был послан на учебу.

Петр, тяжело раненный, отлежавшись в госпиталях, на фронт не вернулся, хотя и был храбрым солдатом, награжден даже Георгиевским крестом. Прямо из лазарета уехал в Петроград. Работал там на заводе, а в 1917 году вступил в партию большевиков.

В Петрограде Петр Андреевич Камакшев встретил революцию. В гражданскую — ушел на фронт. Сперва был младшим командиром, потом водил в бой целые полки. Революционные события привели его в родные края — в село Сивеньки Саратовской губернии, чтоб сформировать из земляков новый полк и отправиться с ним на гражданскую войну.

Второй уже месяц живет Петр Андреевич в родных краях, но в Сивеньках появляется редко, и то на короткое время. Всё в пути: из Саратова — в Кедровск, из Кедровска — в Лопатино, Сердобск, Пензу. Ни морозы

трескучие, ни снежные бураны не останавливали его.

Сейчас он в Сивеньках с новой частью, проводит боевые занятия с красноармейцами, вечерами подолгу сидит в штабе. Фронт торопит.

IV

Как-то утром Серега выскочил из дома и не узнал своей улицы. Вся она была забита повозками и солдатами. На санях — пулеметы, горки винтовок, походные кухни. Отовсюду слышались голоса командиров.

«Что бы это могло быть? — подумал мальчик.— Позавчера, почесть, на ста возах отправляли из села в город хлеб, сено, а теперь улицы вновь запружены подводами и военными».

Сердце Сереги забилось часто, как у пойманного воробышка. Ему не терпелось узнать обо всем сейчас же, сию же секунду. Такого количества людей в своем селе он не видывал сроду, разве что на масленицу, когда взрослые и мальчишки — все до единого — выходили к мосту, чтобы сразиться в кулачном бою улица на улицу. Но то было на масленицу, и собирались лишь жители одного села. А сейчас тут — военные.

На дальнейшие размышления у Сереги не хватило выдержки. Оглядевшись, он стремглав помчался к церкви, где людей было больше всего и где уже в боевом строю стояли красноармейцы. Потолкавшись среди взрослых зевак и убедившись, что отсюда ему не увидеть главного, он по-кошачьи ловко вскарабкался на высокую изгородь и оттуда начал рассматривать все, что творилось. К Сереге тотчас же присоединились другие мальчишки, которые, едва угнездившись на заборе, принялись вытирать мокрые раскрасневшиеся носы.

— Ур-ра-а-а! Собираются помять бока инязору[1]! — заорал Ярыгин Костя, пристраиваясь рядом с Сергеем.

— Его давно уже кшукнули! — ответствовал Серега.

— Так уж и кшукнули? Откель ты знаешь?.. А коли так, все одно далеко не ушел, показал пятки и спрятался где-ни-то. А вот сейчас пойдут красноармейцы и найдут его. А ты, Серега, ничего не знаешь!

---

[1] Инязор — ине азор — великий хозяин, царь.

— А вот и знаю! Дядя Петя мне рассказывал! — не сдавался Сергей, поправляя шапку.

Красноармейцы запели песню, и мальчишки сейчас же присмирели, затихли.

Смело мы в бой пойдем
За власть Советов
И, как один, умрем
В борьбе за это...—

взметнулось над селом и затем поплыло над двинувшимися колоннами. Мальчишки опять завозились на своем насесте.

— Айда, ребята, и мы с ними! — закричал Серега.

— Не возьмут,— вздохнул Вентель Ерма.

— А мы пристроимся сзади, никто и не заметит. Я дядю Петю попрошу. Он тут самый главный командир,— убеждал Серега друзей.

— Эх, вот бы и вправду взял нас на войну. Глядишь, по куску сахару дали бы нам да по большому мослу на кухне,— причмокнул губами Костя.

— А что тут такого? Дядя Петя и винтовку свою показывал мне, дал даже подержать в руках. Я теперь и стрелять умею,— хвастался Серега.

— И я умею!

— И я как бабахну!

— Ур-ра-а-а! На буржуев! — скомандовал Серега.

Но спрыгнуть с забора и исполнить Серегину команду ребята не успели. Пока они спорили и рядили, в конце забора молча стоял младший сын кулака Василия Силыча Куштая — Митя. Одет он был в черный дубленый полушубок. Голову покрывала мерлушечья шапка, на ногах — новые валенки-чесанки. Митя стоял, прислонившись к опорному столбу, пощелкивал семечки и слушал. Когда ребятишки закричали «ура» и готовились спрыгнуть на снег, Митя быстро повернулся, ухватился сильными руками за конец верхней жерди и одним рывком стряхнул всех вниз. Ребята, словно замерзшие галки, попадали с забора. Серега шмякнулся на утоптанный снег и ушиб ногу.

— Ха-ха-ха! — захохотал Митя.— Сопляки! Голь несчастная! Носа не могут вытереть, на заборе усидеть, а туда же — «уря, уря» — на войну собрались.— Он вновь захохотал и победоносно зашагал прочь. Проходя мимо Сереги, дал такой ему подзатыльник, что у того даже шапка слетела с головы.

Серега поднял шапку, покрепче нахлобучил на голову и, прихрамывая, подался от забора, вытирая покрасневшими руками слезы и шмыгая носом.

V

В эту-то минуту он и заметил дядю Петю, верхом на лошади ехавшего по улице. Поравнявшись с Сергеем, дядя Петя попридержал коня, нагнулся и поднял мальчишку к себе в седло. От великой радости Серега забыл даже про больную ногу. Он повел торжествующими глазами и увидел обидчика. Не удержался, чтобы не погрозить ему кулаком.

— Ты это кому кулак показываешь? — спросил его дядя Петя.

— Во-о-он, Митька Куштай. Спихнул нас с забора, а потом по голове меня ударил. У меня шапка слетела.

— А ты сдачу ему дал?

— Еге, дашь ему! Он вон какой большой. Бык прямо...

Дядя Петя рассмеялся.

— Быка надо взять за рога и свернуть ему шею.— Помолчал, закончил тихо и совершенно серьезно: — Ну, погодь немного.

В избу они вошли вместе.

За обедом Петр Андреевич и Константин Павлович поговорили о каких-то своих делах. Затем Петр Андреевич поднялся:

— Так-то вот,— сказал он свое обычное.— Пора мне. Там ждут. Спасибо, тетя Проска, за угощение! — Приподнял Серегу на уровень своих глаз, поцеловал. Серега порывисто обнял его за шею. Петр Андреевич взволнованно сказал: — Ну, герой, прощай! Смотри у меня, не подставляй свою голову под чужой кулак. Не давай себя в обиду. Теперь такое время: разинешь рот — растопчут.

Прасковья Карповна стояла в сторонке и молча слушала мужчин. А когда Петр Андреевич поблагодарил за обед — расплакалась, смахивая слезы кончиком платка.

— Куды же ты, сынок Петярка, опять? А? Когда вернешься теперь? Куда поведут тебя твои ножки-дорожки? Пришел, а мы, почесть, и не видали тебя, все где-то хлопочешь, дерешься за нас, горюнов. Вот такими же и отец, и мать твои были, чуткими до людской беды и нуж-



ды, царство им небесное! — крестилась Прасковья Карповна.

Вышли из дому все вместе. На крыльце Константин Павлович хлопнул Петра Андреевича по плечу, сказал:

— Ты для нас, Петро, был за родного сына. Теперь ты вырос, стал большим человеком, командиром. В самом деле, когда теперь увидимся? И увидимся ли? Давай и расстанемся по-родному, как отец с сыном. Ты погоди тут малость. Я сейчас же вернусь! — и Константин Павлович зашагал к конюшне.

Он вывел оттуда жеребца и приблизился к крыльцу. Высокий гнедой красавец нетерпеливо пританцовывал передними, будто обутыми в белые чулки ногами.

— Большому командиру не положено сидеть верхом на плохой лошади. На, бери,— он протянул конец недоуздка Петру Андреевичу.

— Что ты, дядя Костя! Разве я могу оставить тебя без лошади! — отмахивался Петр Андреевич.

— Бери, бери! Мне все равно не сохранить его. Придет в село какая-нибудь банда и отымет. Если есть замена, оставь какую-нибудь, так, на память, что ли...

— Тогда возьми мою клячу. Глядишь, потомство даст,— сказал Петр Андреевич, сходя с крыльца.

Константин Павлович снял с лошади Камакшева седло и приладил его на своем жеребце. Затем — по очереди — поцеловал Петра Андреевича и гнедого.

Камакшев легко вскочил в седло и поскакал в сторону церкви, оставляя позади снежную пыль.

Тут же, у ворот, рядом с родителями, стоял и Серега. Он смотрел вслед дяде Пете, по щекам мальчугана текли слезы. Прасковья Карповна скоро вернулась в избу. Константин Павлович завел во двор кобылу Камакшева. Теперь у ворот оставался один Серега. И вот он уже во весь дух побежал вдоль улицы, вдогонку дяде Пете.

На церковную площадь Серега примчался в ту минуту, когда Петр Андреевич отдавал какие-то распоряжения выстроившимся красноармейцам. Серега перво-наперво начал отыскивать своих дружков, но нашел лишь Костю. Дождавшись, когда бойцы тронулись с места, Серега и Костя пристроились к ним сзади.

Экими молодцами ребята выглядели! Как ловко вышагивают, ноги поднимают высоко, шаг делают возможно шире, руками размахивают точь-в-точь, как красноармейцы.

Так, в бойцовском строю, и дошли до околицы села. Сухой, сыпучий снег делал трудным их поход. Чувствуя, что отстают от строя, ребятишки переходили на бег и потом опять печатали шаг по-солдатски. В конце концов выбились из сил, начали постепенно отставать от красноармейцев, а затем и вовсе остановились. Долго смотрели вслед уходящей колонне, махали руками. В ушах не смолкала песня:

Смело мы в бой пойдем...

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

I

Пора таяния снегов подкралась как-то незаметно. После мартовских буранов дни стали солнечные, снег быстро сделался рыхлым, дороги почернели, перед избами появились проталины. Иной раз зима вроде бы пыталась поправить свои дела: внезапно начинал падать снег, задергивал белым покрывалом стежки-дорожки. Но весна уже была хозяйкой положения: выглянет солнышко, и снег вмиг превращается в кашицу.

Через неделю по улицам побежали ручьи. Звеня и поблескивая на солнце, они текли, торопились по всем дорогам вперегонки, стремясь первыми выскочить на большую улицу, где сливались в подобие речушки.

Рожденная только что речушка несется куда-то, через нее не только перейти, но и перепрыгнуть невозможно. Временами она ныряет под снежный холмик, под курганчик золы, которую выносят на середину улицы жители селения, то вновь вынырнет далеко впереди из-под этих холмиков и курганчиков и опять весело поблескивает под яркими лучами солнца.

Вся улица во власти ребятни. Мальчишки перепрыгивают с одного бугра на другой, проваливаются, вновь вскарабкиваются на возвышения, палками и лопатами сталкивают на воду кучки навоза, смерзшейся золы и снега. Смех, радостные, задорные крики...

Вон трое разом прыгнули на один холмик. Тот качнулся, провалился под ногами. Вода вмиг заполнила провал. Ребятишки по колено стояли в воде, затем выбира-

лись на сухое и уже не с хохотом, а со слезами шли домой, хлюпая обувчонкой.

Серега очень любит весенние дни: греет солнышко, позванивают ручьи, ошалело каркают вороны, важно расхаживают грачи, на все лады заливаются скворцы, вытягивая серебристые головки и похлопывая крылышками,— все кругом оживает, радуется и веселится.

Сегодня Серега встал с рассветом. Мать уже напоила теплым пойлом и вывела из задней избы корову, которую заводят в зимнюю пору сюда на дойку. Недавно появившийся на свет теленок был тоже в избе, стоял на привязи в углу, в маленькой оградке.

Серега пристроился на скамейке, возле печки, вынул из печурки шерстяные чулки и жесткие, как лубок, онучи — вечером он засунул их туда для просушки.

Мать тем временем достала кочергой из печки его лаптишки с колодками (колодки эти с длинными шипами прикреплялись к лаптям лишь по весне, во время половодья, чтобы не промочить ноги),— лапти теперь тоже были сухие и теплые. Серега быстро обулся, умылся холодной водой из рукомойника, висевшего над лоханью. Позавтракал блинами с капустным рассолом. Ни масла, ни кислого молока мать не дала: сегодня не праздник, а великий пост.

Утро было солнечное, морозное. По утреннему этому морозцу на своих огородах, на полосках еще сохранившегося снега женщины раскатывали рулоны холста, с тем чтобы он стал еще белее. В свежем бодрящем воздухе далеко разносился скрип ворот, калиток и колодезных журавлей.

Постукивая колодками, Серега вышел на улицу и удивился: все, на что ни погляди, покрылось инеем. Деревья словно окутались буйным цветом. В проулке выглянули из-под снега прошлогодние бодылья лебеды и крапивы — сейчас они стоят, точно сугробы. Даже соломинка, что свисала с крыши, и та потолстела, распушилась, как хвост белой кошки.

От такого зрелища Серега пришел в самое веселое расположение духа. Проходя мимо стебля крапивы, он беспечно пнул его ногой. На землю посыпались блестки инея. Это очень понравилось мальчишке. Он приблизился к куче хвороста, выдернул из нее длинную хворостину и принялся сшибать ею сосульки, свисавшие с крыши. Затем добрался до вяза, который стоял перед их домом,

и принялся колотить палкой по его веткам. Стукнет раз — с дерева белым дождем падает иней. Стукнет второй — сам превращается под вязом в снежный сноп.

Вскоре к нему, так же стуча колодками лапотков, присоединились дружки-приятели — Костя Ярыгин, Ерма Вентелев и другие. Теперь они уже вместе трясли покрытые инеем деревья. Всяк норовил прежде всего обсыпать своего товарища.

Но вот солнце поднялось выше, быстро слизнуло с веток иней, мальчишкам больше делать было нечего, и они помчались на середину улицы. Воды еще не было: ее остановил подоспевший ночью мороз. На месте вчерашних ручьев были теперь белесые плешины, похожие на хрустальные мостики.

Серега и его товарищи пытались на своих колодках покататься по этому льду, но из их затеи ничего не получилось: лед оказался не скользким. Друзья звали Серегу играть в козны, но тот не пошел и вскоре остался один посреди улицы. Ему нравилось разбивать стеклянную наледь ручейков. Тюкнет палкой — лед с треском раскалывается, будто кто алмазом полоснет по стеклу, на месте удара во все стороны разбегутся лучики.

Но солнце делало свое дело, и вот уже подо льдом запузырилось, заструились, ожили пока еще робкие, но все набирающие силу ручейки. Серега шел и шел вдоль улицы, сталкивая ногой в очнувшиеся потоки разные комья и, когда те застревали, проталкивал их дальше, освобождая путь воде. Он не боялся промочить ноги: колодки у него высокие, новые, окрашены настоем ольховой коры — такие не пропустят влаги. В своей куцей шубейке и шапке-ушанке он мог показаться со стороны маленьким старичком, этот восьмилетний мальчуган.

Серега так увлекся своим занятием, что не заметил, как рядом с ним оказался Куштай Митя, который ехал куда-то на своих саночках и чуть было не наскочил на мальчишку. Серега перепугался и шарахнулся в сторону. Но Куштаю, видать, не было до мальца никакого дела, он проехал дальше. Серега продолжал свой путь.

Дом его остался далеко позади. Но о нем Серега сейчас не думал. Казалось, важнее важного для него было узнать, куда бежал ручей. Так он оказался на самом краю села, где ревела речка Грача. «Глянь-ка, какой она стала! — думал он.— Летом и курице из нее не напиться, а сейчас вон что выделывает! Вот ежели разбежаться хо-

рошенько да ка-ак сигануть!.. Нет, не перепрыгнешь ее теперь!»

Мальчишка еще немного постоял на берегу, не отрывая глаз от играющего потока. Голова стала немного кружиться, и он по крутому, высокому берегу, где снег сошел раньше всех и земля уже начала понемногу засыхать, не спеша побрел вдоль речки. Сейчас ему хотелось знать, куда впадает сама речка. Может, в Медведицу? О, эта Медведица теперь, как бешеная собака, сорвавшаяся с цепи, поди, весь Ильмень затопила. Вот бы глянуть, как она безумствует!..

Пройдя, однако, еще несколько шагов, он посмотрел на противоположный берег и остановился в нерешительности.

II

По ту сторону реки стоял невысокого роста незнакомый человек, выглядывая, где бы лучше перейти на другой берег. На его ногах были сапоги, одет он в короткий пиджак, голову покрывала солдатская фуражка с круто согнутым козырьком.

— Эй, карапуз! Где можно перейти вашу грозную реку? — закричал незнакомец.— Через эту бешеную зверюшку?

— Через чего? — не понял Серега.

— Не видишь разве: ишь как ярится между тобой и мной! Как, говорю, перебраться через эту бешеную речонку?

— А кто ее знает. Может, перепрыгнуть? — Серега постоял в задумчивости, что-то припоминая, а затем крикнул: — Эй, дяденька! Погоди-ка! Во-о-он там, недалеко отсюда, есть переход. Там жердочка перекинута... нет, две, кажись, жердочки! Иди вон туда,— он показал рукой вдоль речки.

Неподалеку действительно было перекинуто через речушку бревно.

Человек подошел, опробовал бревно ногой, но перейти по нему сразу не решился.

— Послушай-ка, малец, брось сюда свою палку! — попросил незнакомец, а сам все оглядывался по сторонам: чувствовалось, что он торопится.

— Держи, дяденька! Она мне теперь не нужна! — живо отозвался Серега и кинул палку.

Мужчина поднял палку и, опираясь на нее, медленно пошел по бревну. Посреди разбушевавшейся реки палка оказалась короткой и не доставала дна. Человек потерял равновесие, поскользнулся на мокром бревне и упал в воду.

Серега сперва расхохотался, но, увидев, что незнакомец беспомощно барахтается в воде, испугался, не зная, что делать. Мужчина все-таки кое-как выбрался на берег, протянул Сереге мокрую холодную руку. Мальчишка с готовностью подал свою и вскрикнул, когда тот будто тисками сжал маленькую ладонь.

— Что ты визжишь, точно поросенок?! — прошипел незнакомец и, вскарабкиваясь на крутой берег, дернул Серегину руку так, что тот едва не плюхнулся в воду.

Прохожий уселся на берегу, слил из сапог воду, хорошенько выжал пиджак, встал. Сорвав с головы Сереги шапку, вытер об нее руки и бросил в лужу.

— Я тебе покажу, как смеяться, щенок! Через тебя чуть не утонул. Молись богу, что маленький, а то бы проучил тебя. Я бы...— он хотел еще что-то сказать, но передумал. Опять воровато оглянулся вокруг, извлек из кармана нечто похожее на чекушку, поднес горлышко к губам, дунул раза два и опять сунул в карман. Затем быстро прямо через огороды направился в село.

Серега поднял из лужи шапчонку и медленно поплелся домой.

Почти у самого дома его опять встретил Костя Ярыгин.

— Сергей, где это ты пропадал?

— На половодье смотрел.

— Ну как, сильно разлилось!

— И-и-и, страсть! Камни и горы ворочает! — отвечал Сергей, а рукой подманивал Костю к себе поближе. — Знаешь что, Коська?

— Что?

— Никому не скажешь? — не дожидаясь ответа, поскорее выпалил: — За селом, на берегу Грачи беглеца видал!

— Ври больше!

— Не веришь? Он даже тонул. И палку мою утопил в воде, во!

— А где же он теперь?

— В село побежал.

— Беглые по селу не бродят,— солидно сказал Костя

и вдруг объявил: — А мы в козны играли. Я целый карман насшибал. У меня панок[1], сам знаешь, какой, оловом налитый. Как ни брошу—ладчик да ладчик[2]. Это все олово его туда тянет...— и без всякого перехода заговорил уже о другом: — Вот спадет немного вода, пойдем на Медведицу рыбу удить? А? У меня крючки — во какие! — Костя умолк на минуту, а потом вспомнил: — Да, Сергей, забыл совсем — тебя отец разыскивает.

К концу дня, когда мороз опять стал подбирать лужицы, Серега с отцом поехали на гумно за кормом. Здесь, в риге, Серега рассказал отцу о встрече с неизвестным ему человеком. Не забыл поведать и о том, как тот тонул и как в конце с помощью Сереги выбрался на берег.

— Обманываешь, поди, Серега. В такую распутицу какой чудак будет лазать по оврагам да буеракам,— не поверил отец. Но, подумав немного, спросил: — Какой он из себя? Высокий, низкий, в чем одет, приметил!

Сын быстро отвечал на вопросы и, чтобы окончательно уверить его, сказал:

— Хочешь, побожусь!

— Ладно, ладно, верю.

— Пап, а этот человек не беглец какой-нибудь?

— Беглецы днем по селу не ходят, сынок. Видать, кто-нибудь из наших же, сельских, или из другого села, а может быть, и из города по какой нужде,— сказал отец, и они принялись накладывать в сани корм.

В большое, сплетенное из прутьев лукошко набили мякины — это корове. Для лошади на месиво положили обмолоченные снопы, кое-где обточенные мышами. Овцам — остатки подсолнечных стеблей и вышелушенных, растерзанных цепами шляпок.

Отец оглядел ригу и тяжело вздохнул: кормов оставалось на одну только неделю. До остатков сена не дотронулись: отец берег его к весеннему севу.

Кобылка, полученная от Петра Андреевича взамен жеребца, с гумна побежала домой охотно. Отец не понукал ее: все думал о человеке, про которого рассказывал на гумне сын. «Кому бы это быть? Кого же в такое время черти носят?» — как ни ломал свою голову, кого только ни припоминал Константин Павлович, но угадать незнакомца не смог.

---

[1] Панок — бита.

[2] Ладчик — положение биты, дающее игроку право бить по кону первым.

III

То был Гава Капитанов, некогда закадычный дружок Петра Андреевича.

В бурные революционные дни, когда распадалась царская армия и рождалась молодая Красная Армия, Гава был послан эсерами в его родное село, чтобы поднять кулаков против Советской власти, с их помощью убрать сельских коммунистов и активистов, овладеть Советами, а там вести дела по своему усмотрению.

«Дела пойдут быстро,— думал Гава после получения задания,— ежели по нашим местам пройдет со своим войском кто-нибудь из благородий, как обещано. Большевиков — к ногтю, и хозяйничать будем мы. Тогда и лавчонку можно будет открыть, начать какое-нибудь заведеньице, подкупить с десяток десятин землицы и жить себе припеваючи. Потом видно будет...»

С такими-то мыслями он явился сперва в Кедровск. Немного пожил там, приютившись у одной знакомой женщины, а ранней весной 1919 года, выбрав подходящий день, по утреннему морозцу отправился в Сиверьки, к отцу, чтобы поглядеть, разнюхать, как живут там мужички, каково их настроение, вместе с ними хорошенько все обдумать, потолковать о дне завтрашнем.

И вот теперь, точно голодный волк, с низко опущенной головой, озираясь, опасаясь людей, узкой тропкой он вышел от речки Грачи к отцовскому дому. За ним сейчас же плотно захлопнулась калитка.

Матери у Гавы не было. Сказывали, что еще в молодые годы, когда была на сносях, помогала мужу свалить воз снопов, поднимала телегу и надорвалась, а через неделю скончалась.

Церковный староста, отец Гавы, теперь жил с молодайкой, которую привез из соседнего села сейчас же, как только отправил сына в царскую армию. До сих пор, однако, никто на селе толком не знал, жена ему та молодица аль работница.

При встрече с сыном отец прослезился. Окся — так звали хозяйничавшую в доме молодую женщину,— поняв, что пришел сын старика, попыталась чем-то услужить пришельцу. Но старик не допустил ее до сына.

— Вон отседова! — закричал злобно.— Ступай закрой ставни. И смотри, держи язык за зубами, не то...— и он чиркнул по воздуху ребром жесткой ладони, как бы

показывая, что вот это самое сделает с ее языком.

— Как скажешь, так и будет,— сказала женщина и вышла.

Гава сидел на скамье, с него стекала на пол вода.

— Откуда ты, сынок? И что с тобой сотворилось? — спрашивал его отец.

В голосе церковного старосты слышалось разочарование: не таким виделся ему сын, произведенный в офицерский чин. Ждал барина, объявился какой-то галах.

— Где же ты пропадал? — еще раз спросил отец.

— Где был — там уж нет меня. Лучше не спрашивай. Сам знаешь, какие сейчас времена. Поискал бы для меня сухое бельишко. Видишь, как с меня льет? — грубо прервал Гава отца.

— Ах, вере паз [1]... От радости-то ослеп и вправду. Сразу бы сказал... Я сейчас, мигом! — старик метнулся в переднюю, крича: — Айда сюда, сынок!.. Гаврюша, тут вот и переоденься.

Гава прошлепал босыми ногами в переднюю комнату и, переодевшись, вернулся. Уселся на скамье и сказал вожделенно:

— Спиртика бы немножко. Случаем, не найдется?

— Как не найтись? Найдем! — Отец быстро открыл одну половицу и нагнулся над отверстием. Подцепив где-то там бутылку спирта, поставил ее на столе перед сыном. Достал затем из шкапа стопку, холодное мясо на тарелке. Окся быстро принесла из погреба соленых огурцов и грибов, нарезала хлеба.

Гава дрожащей рукой налил спирт и опрокинул его залпом. Уединившись затем в горнице, протер спиртом все тело, лег в постель. Тихо подозвал отца и, что-то наказав ему на ухо, натянул до самого подбородка одеяло и тотчас захрапел.

Проснувшись, глянул на часы: они показывали восемь часов вечера. Вскочил с постели, словно по тревоге. Быстро побрился, оделся во все новое, загодя приготовленное отцом. Теперь он был в лакированных сапогах, в хорошо отутюженных брюках, белой рубашке, подпоясанной узким ремешком. Поредевшие волосы зачесаны назад. Из-под черных бровей колюче смотрели черные глаза. Нос длинный, а кончик его по-ястребиному согнут над верхней губой.

---

[1] **Вере паз** — боже мой, всевышний.

Вскоре в избу к ним один за другим стали приходить люди. Первым явился отец Никодим. Гава встретил его в горнице. Вслед за попом пришел Василий Силыч Куштаев, облаченный в новую поддевку, на ногах — чесанки с галошами. Широколобый, а борода клином, точно у козла. Нос приплюснут, будто кто наступил на него каблуком. К правому веку прилепилась какая-то горошина. Как только перешагнул порог, окинул избу вытаращенным своим оком, снял шапку, степенно перекрестился перед образами, поздоровался со всеми, не спеша присел на край скамьи и так же не спеша пригладил бородку. Вскоре рядом с Куштаевым сидели уже Проня Солдатов и Микиж Тетерев.

Распахнулась дверь горницы, и гостей пригласили туда. Поздоровавшись со всеми — с каждым в отдельности,— Гава засунул обе руки за ремешок, встал посреди комнаты и спросил:

— Ну-с, старики, разумные головы, каковы слова-дела, думки-задумки, как живем-можем? — голос у Гавы был хриплый.

От слов его горошина на Куштаевом глазу задергалась, запрыгала.

— Да как те сказать, Гаврила Егорыч: с ветки на ветку, с прутика на прутик, так вот и прыгаем, как тот воробей,— за всех непонятно ответил он.

Житейский опыт подсказал старику: не торопись сразу прямо выкладывать то, что у тебя на душе. Сперва оглядись вокруг, потяни носом, определи, чем тут пахнет, взвесь все хорошенько и потом уж решай, какие твои слова будут впрок тебе же. Покамест Василий Силыч не знал, как ответить на вопрос молодого хозяина. Сказать прямо, что хорошо живется,— вдруг это придется не по нутру ему. Сказать же — плохо, язык не поворачивается, да и неизвестно еще, кто же он сейчас, этот Гава. Годов уж семь не было его дома, в селе. Долетали слухи, что там, в царской армии, до больших чинов дослужился, а теперь, черт его знает, где и на кого работает. Вон и Петр Камакшев был в царской армии и даже награжден крестом на войне с немцами, а потом куда повернул?!. А ведь до ухода в армию Гава и Петр были друзьями неразлучными — водой, бывало, их не разольешь. Может, Гава тоже большевик, командир или даже комиссар Красной Армии? Вишь, как одет-обут, разряжен, точно большой начальник... Может, и он пойдет шарить по су-

секам, подметать хлебец подчистую?.. На лбу-то у него ничего не написано, отметины там никакой нету. Лучшека, думал старик, я его сам спережь спрошу. Тихонько, с опаской в голосе, заговорил:

— Кхе-кхе... Гаврила Егорыч, а сам-то ты сейчас кто, дозволь узнать? Как тебя, милок, величать-то: ваше благородие, каким раньше был, или дорогой товарищ, как величают друг дружку комиссары? А? Во-она дружок-от твой, Петька Камакшев, товарищем большевиком заделался, комиссаром.

— Он моим другом не был и не будет,— отрубил Гава.— Кто продал душу свою авантюристам, тот мне не друг, а враг. Думаю, что при вас я могу сказать такое? Здесь вроде все свои, лишних людей нет. Так, что ли? Так, я вас спрашиваю? — на лице его отпечатался испуг: не поторопился ли с такими словами?

— Воистину так, сын мой,— поспешил его успокоить поп и руки его непроизвольно коснулись креста, лежащего на животе.

— Так, так! — разом заговорили мужики.

— Верно, верно!

— А вы присаживайтесь к столу, зачем же стоймя стоять? Попьем чайку, потолкуем не спеша, обсудим, обговорим кое-какие дела-делишки,— заговорил вдруг старый хозяин. Теперь уже он не боялся за сына, даже стал догадываться, за какой надобностью скликал тот мужиков.

Гости расселись, но продолжать начатый разговор никто не решался.

— Ну-с, говорите, дела идут неплохо? Большевики не намяли вам еще бока? — нетерпеливо спросил Гава.

— Не гневите бога, Гаврила Егорыч. Какие уж там дела! — встрепенулся Тетерев Микиж.— Что ни день — жди комиссара. Того и гляди, по миру всех пустят, сделают нищими.

— Значит, здесь кто-то уже побывал? Камакшев, что ли, наведывался к вам? Слышал, как же!

— И не говори, Гаврила Егорыч. Приезжал, нечистая сила, пропади он пропадом. Оставил нас наполовину голодными. Хлебушко словно корова языком слизнула, начисто подмел амбары-то. И-эх-хе-хе! Что там и говорить — дожили! — махнул рукой Солдатов Проня.

— Нда-а-а, прошелся по селу большой ложкой, снял сливочки! До всего дотянулся: и до лошадей наших, и до

хлеба, а сколько возов сена угнал в город — не перечесть. Взял, к примеру, у меня кобыленку да еще и говорит, антихрист такой: тебе, говорит, Силыч, хватит и четырех, будто не я, а он наживал тех лошадей. Да что я — один, что ли? Спроси хоть вон того, аль вон энтова,— тыкал Куштай согнутым пальцем то в одного, то в другого,— всех ограбил. Отца твоего тоже не пощадил — отобрал гнедого. Дескать, для защиты Советской власти. Потом, мол, Советская власть все возвратит. Знаем мы это их «потом», у волка в зубах — святой Егорий дал, жди кукиш с маслом! Где же тут, мил человек, правда, а? Какая же тут, к хрену, Советская власть, ежели она тебя средь белого дня грабит?

— Конечно же, это грабеж. Но вы-то сами где были? Почему покорились Камакшеву, склонили перед ним свои седые головы? — гнусавил Гава.

— Мы б не покорились, шиш бы он получил от нас, Гаврила Егорыч, если б он один тут был, а то ить с войском. Целый полк собрал из соседних селений, опять же ружья у них, пулеметы. Будь он один, мы б и пылинки от него не оставили. А то поди раскрой зевалку — сразу же пуля туда влетит, и глазом не успеешь моргнуть, как она это самое...— говорил Куштаев, горошина на веке подпрыгивала при этом, а козлиная борода тряслась.

— Ну-с, тэк-тэк. Это хорошо, что большевики встряхнули вас малость. Злее будете,— Гава остро оглядел всех.

— Воистину верно! — заторопился под этим взглядом поп.

— Еще б не верно! — продолжал, все накаляясь, Куштаев.— Тебя, батюшка, из дому вон вышвырнули — на что же это похоже?! Под штаб им, видите ли, понадобился, негде им было свои окаянные планы составлять!.. А теперь, слышь, какой-то нардом там устроили, антихристовы дети! Книжки там богопротивные выдают глупым ребятишкам да девчатам, в консомол их заманивать стали. Скептакли устраивают: рожи строят, раздеваются там до нагишки — это в доме-то слуги божьего!

В ответ на это отец Никодим только на миг развел руки от креста и сейчас же вернул их на прежнее место: кроме казенного, занятого ныне под нардом, у него был еще другой дом, свой собственный, вдвое больше. Отнятый дом был дорог ему особенно тем, что вокруг него раскинулся огромный сад.

Между тем на столе появились самовар, бутылки с вином и разные закуски. Сперва выпили хмельного, потом принялись за чай.

— Ну-с, а как поживает Маркин, кормилец-поилец Камакшева? — спросил Гава, помешивая ложечкой чай в стакане.

— И-и-и, лучше не спрашивай, Гаврила Егорыч! — запел Куштаев, отставляя стакан в сторону.— Кабы ты знал, что он вытворял, когда Камакшев подметал наши сусеки! И сюда сунется, и туда, как пес гончий! Как же, активист!.. Обо всех его проделках и за всю ночь не расскажешь, милок,— вот он какой, этот Маркин.

— Жеребца своего не пожалел — отдал товарищу комиссару.

— Вместо него взял клячу, у которой и хвост-то вроде мочалки,— повествовали старики, успевшие уже изрядно покраснеть.

— Вон оно как! Тэ-эк. Поняли теперь, что за тип этот ваш Константин Павлович? Запомните мое слово, он еще не так прижмет вам хвост,— сказал Гава.

— Кишка тонка. В бараний рог согнем, если что, — в сердцах сказал Солдатов.

— Гм... кхэ-кхэ, Гаврила Егорыч, а как там,— вкрадчиво заговорил опять Куштаев, показывая большим пальцем куда-то через свое плечо.— Как там, что там думают?..

— Там хорошие дела... будут,— начал задумчиво Гава.— Такие силы двинулись! Стратегия, тактика! Понимаете? Генералы! Адмиралы! Бароны! Не то что эти... вшивые стратеги. А генералы — они и сюда придут, и Камакшева приведут, спросят с него и за лошадей ваших, и за хлеб. За все! — Гава говорил, а про себя думал: «И почему я его тогда, на фронте, не кокнул? Ведь и момент был подходящий, и знать об этом никто бы не знал. Одним «товарищем» теперь на свете было бы меньше».

— Когда же, Гаврила Егорыч, дозволь узнать, все это будет? А? Когда, милок, они придут, генералы твои? — опять заговорил Куштаев и, хитро прижмурившись, посмотрел на Гаву.

— Ждите, когда наступит срок, дам знать. Покамест — молчок. О чем тут шла речь, чтобы никто — ни-ни, никому ни слова! Поняли? А то «дорогие товарищи» нашу беседушку растолкуют по-своему и не похвалят за нее. Поняли? А знакомых и близких вам людей обра-

щайте потихоньку, осторожненько в свою веру, чтобы было больше недовольных Советской властью. И запомните: кроме эсеров, у нас с вами нет других защитников. На них — вся наша надежда. Это — ваша партия!

— А ты сам-то, Гаврила Егорыч, к какой партии принадлежишь? К этой самой? — допытывался Куштаев.

— Само собой,— коротко ответил Гава.

— А что же с Советами будет?

— Советы должны остаться. Мы только большевиков оттуда турнем. Кто сейчас во главе Совета в селе?

— Зубков. Лексей Андреич Зубков,— быстро ответил Солдатов.

— А кто он, ваш Зубков? Большевик или эсер? Откуда он? — спрашивал Гава.

— Он, сказывают, и не большевик, и не эсер, а из какой-то другой партии, которая, говорят, еще злее. Коммунистом он прозывается. Поэтому и обличьем, и одеждой своей он не похож на обыкновенного человека. Волк волком! Вместе с Камакшевым и Маркиным рыскал по нашим дворам... Пришел в наше село черт те откуда, может, с хронта удрал, винтовку приволок с собой, целый мешок всяких еретических книг и теперь раздает их таким же, как он сам, голодранцам,— растолковывал старик Куштаев.

— Ну-с, тэ-эк, тэ-эк. Говорите, и винтовку с собой принес? Тэ-эк. Ну, а еще кто у вас тут в активистах-коммунистах ходит? Может, и ячейку уже сколотили?

— Много тут всякой шантрапы. Все они вокруг Зубкова и его Совета вертят хвостом, словно собаки бездомные. И ячейка у них, само собой, имеется, и гнездо окаянное, видать, есть,— с живостью отвечал отец Гавы.

— Тэ-э-эк,— протянул свое обычное Гава, постукивая пальцем по столу. Помолчав, решительно предупредил: — Не бойтесь, мужики, мы в обиду вас не дадим.

— Вот за это, милок, спасибо. За такие слова и в ножки можно поклониться,— с радостью молвил Куштаев. Теперь он уже не осторожничал, не боялся собственной речи: знал, с кем имеет дело. «Умный, знать, человек,— думал он про Гаву, — с таким можно хоть куда. А голодранцам мы еще покажем, на чьей стороне сила. Они, эти Камакшевы, Зубковы, Маркины, думают, все у нас подчистили — а вот этого не хотели! — сухие, костистые пальцы старика сами собой сложились в тугую «дулю». — Не дурнее вас, не лыком шиты!»

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

I

Дом Василия Силыча Куштаева свободно поместился посреди курмыша[1]. На всей улице он самый большой и красивый, покрыт железом, на которое положена ярко-зеленая краска. Снаружи стены обиты тесом, тоже покрашенным, но уже в желтый цвет. Изба в шести окнах. Они так высоко, что и взрослому человеку не дотянуться до них рукой. Карнизы под крышей и наличники окон узорчатые. На самом коньке крыши — петух, искусно вырезанный сельскими умельцами из фанеры.

Окна, что выходят на улицу, всегда плотно прикрыты ставнями. Редко кто видел их сверкающие стекла. Немногие также видели и слышали, как протекает жизнь в самом доме. Может, еще и потому, что перед избой — большой палисадник, где растут березы и вперемешку с ними, почти не уступая по высоте,— мальвы. Всегда открытыми бывают лишь те окна, что смотрят во двор — смотрят не мигаючи, как добросовестные и бдительные сторожа.

А сторожить им есть что. Взять хотя бы надворные постройки — хлевы, амбары, сараи. Они мало в чем уступают самому дому, срублены из цельных бревен, покрыты тесом. Внутри постройки разделены на множество клетушек, в которых содержится разный скот: коровы, овцы, свиньи. Лошади стоят в теплых светлых конюшнях.

Перед домом — погребица с выложенным из камня входом. На селе ни у кого таких нет. На всех дверях висят замки, размерами напоминающие хомуты. Один амбар — дубовый, он точно прилепился к остальным постройкам. Одно окно дома уставилось прямо на этот амбар и не спускает с него глаза.

Куштаев самый богатый на селе. Ветряная мельница, что маячит на выгоне, принадлежит ему. Только делами правит там не он, а его старший сын Антон. На речке Грача — паровая мельница, тоже его. Рядом — просорушка и маслобойка — опять же Василия Силыча Куштаева.

Во всех этих заведениях работают наемные люди. А

---

[1] Курмыш — порядок домов на улице села.

во дворе за скотом ходят сноха Куштаева, Марька, и его младший сын Митя. Много забот и у самого Куштаева. Точно лягушка, прыгает он с одной кочки на другую: то на мельницу, то на просорушку, то на маслобойку. Чтобы все видеть, чтобы ни одна малость не ускользнула из-под хозяйского глаза.

Ничто не связывало Константина Павловича Маркина с Василием Силычем Куштаевым, ежели не считать, что Маркину иной раз приходилось заглядывать на подворье Куштаева и попросить взаймы муки, чтобы «протянуть» до нового урожая. Потом за один пуд муки Константин Павлович возвращал Василию Силычу два пуда ржи: таковы были условия Куштаева, а там дело твое — можешь принять их или отвергнуть. Одним словом, не было между этими людьми ни дружбы, ни большой вражды. Жил всяк сам по себе.

Отношения их обострились, когда Константин Павлович взял к себе в приемыши Петю, сына Камакшева Андрея, и еще более они обострились после того, как Петр Андреевич Камакшев отобрал для Красной Армии лошадь Куштаева, а заодно — и лишний хлеб; в последнем деле ему ревностно помогал, как известно, Константин Павлович Маркин. Правда, перед людьми, открыто, Василий Силыч не выказывал лютой своей злобы к Маркину, приготовленный впрок камень держал глубоко за пазухой. Не мог Куштаев превозмочь себя этой весной, когда Константин Павлович пришел к нему обменять овес на семенное просо.

Они встретились у Куштаевых ворот. Маркин, после слов «доброе здоровье», протянул старику руку. Но тот и не глянул, не сдвинулся с места. Лишь злобно мигнул бельмоватым глазом, сказал:

— Видать, не зря говорится в миру: не гора приходит к человеку, а человек к горе. Вот оно как, милок!.. Ну, сказывай, какая блоха тебя укусила? С какой нуждой пожаловал?

У Константина Павловича уже не было охоты заводить разговор с этим мироедом, однако нужда в семенах подпирала, и он сказал:

— Овсеца у меня немного осталось. А просца семенного нету. Может, обменяем?

Куштаев аж просиял весь от злорадства:

— Вон оно как! Хорош — нечего сказать! Ты, видно, милок, забыл, как с приемным своим сыном Петькой Ка-

макшевым подметал мои сусеки, как лошадку сгонял с моего двора? Забыл?! Не подумал, похоже, тогда, что еще сгожусь тебе, а? Ни единым словом не заступился за меня, а теперь вот вспомнил про старика Куштая: выручай, мол, Силыч, своего обидчика! Это где же вы найдете такого дурака, хотел бы я спросить?.. Ну, вот что, мил человек: иди куда хочешь и меняй свой овес на чего хочешь: хоть на просо, хоть на золото, хоть на дерьмо собачье — мне все едино! Иди к своему Камакшеву, можа, выручит! — разрядившись малость от переполнявшего все его существо гнева, Василий Силыч продолжал чуть спокойнее: — Иди, иди, милок. Он, выкормыш твой, должон помочь. У него теперя есть на что обменивать. Успел, поди, вдоволь награбить добра всякого. Тебе, милок, не впервой, чай, играть с ним в цыганскую игру, обмениваться, то есть: то лошадь, то душу свою обменяешь. Видать, с ним тебе сходственнее — процентов он с тебя не берет...

Что мог сказать Маркин на такие слова? Многое мог бы сказать, да не стал. Только посмотрел прямо и долго в разгневанное лицо Куштаева, повернулся и с высоко поднятой головой пошел от его подворья прочь. По дороге домой мысленно ругал себя за то, что ходил на поклон к этому старому волку.

«Но ведь не за милостыней же ходил? — искал он себе оправдания.— Не пустяк какой-нибудь предлагал ему в обмен на просо, а овес. За один пуд не пожалел бы два пуда. Мало того — и три бы отдал, черт с ним, пускай подавился бы, а просо — что ж? — не посеешь же вместо него овес?!»

Разговор Куштая с Маркиным слышал Митя. Когда Маркин ушел, он спросил у отца:

— Почему не поладили? За пуд он два бы принес. Разве не видно по его глазам? Не понимаю я тебя, отец.

— А тут и понимать, милок, нечего. Вырастил на нашу шею одного камакшонка[1], теперь растит другого — Серега не лучше Камакшева будет, по всему видать! Посеет Маркин просо, соберет урожай, привезет на нашу же просорушку, а потом будет кормить кашей своего зверенка, чтобы, значит, у него зуб поострее и покрепче рос. А зуб-то для кого предназначен? Для нас с тобой — схва-

[1] Фамилия Камакшев от мордовского слова «камакш», что означает — коренной зуб, отсюда и «камакшонка».

тит за глотку и крышка, кровя выпустит — и каюк! Понял?.. То-то же. А овес — на кой хрен он нам? У нас своего некуда девать. А просцо — оно ныне кусается. Думать надо, Митя!

II

Между тем посевная приближалась. На улице снег растаял. Лишь со дворов, из подворотен тонюсенькими веревочками тянулись ручейки, беря свое начало под навозными кучами, где еще держался снежок. По оврагам, однако, все еще бежала мутная желтоватая вода.

Для крестьян наступила та трудная пора, когда скот еще не выгонишь в степь, а во дворах корма кончились. Тут уж каждый селянин изворачивался как мог. Многие выходили со своим скотом на гумны, пасли по пригоркам, где выглянула первая травка. По дорогам и у риг коровы и овцы подхватят то колосок, то клочок прошлогоднего сена. По склонам оврагов объявились крохотные, точно мышиные ушки, листочки репейника, у плетней и заборов синенькими огоньками вспыхнули перышки пырея — овцам того только и нужно было!

Все это загодя взвесил и обмозговал Василий Силыч Куштаев. «Для овец,— рассудил он,— теперь много кормов не потребуется. Они до выгона стада продержатся и на подножном корму. Для коров, конечное дело, надо оставить немного сенца, чтобы не сбавили удой. Для лошадей — овсяную и просяную солому — в месиво пойдет. Понятное дело, попридержать сенца к посевной, овсеца — тоже. Оставшийся же корм надо распродать, пока в нем у других большая нужда имеется. Вон сколько еще стожков осталось: и сена, и соломы! Большие деньги можно взять!»

Не зря в селе говорят, что Куштай и с камня лыко сдерет, а за корм — сбреет голову и без бритвы.

Как задумал, так и сделал.

По утреннему морозцу на трех дровнях отвозил с сыновьями на базар сено и солому. Возвращались с тугими узлами всякого добра, купленного на вырученные деньги, малость хмельными и от выпитой водки и от удачливой торговли. Невеселыми были разве только лошади: размокшая, раскисшая на обратном пути дорога и порожние дровни делала тяжелыми. Нижние губы лошадей отвисали, как мокрые варежки. Но это не беспокоило хо-

зяина: лошади отдохнут, хороший корм быстро вернет им силы. Важно, торговля шла на славу!

Однажды утром Куштаев решил спровадить своих овец на гумны. Накануне он был там и видел, как много разбросано клочков сена и разных колосков, сколько объявилось всякой зеленой мелкоты. «Не пропадать же добру! — думал он, возвращаясь домой. И наутро приказал Мите, чтобы тот согнал овец на гумны.

Тот день и для Сереги Маркина был праздником. По той же дороге, что и Митя, он гнал в сторону гумен своих трех овец, которые сейчас же принялись подбирать прошлогодние соломинки. Серега и не заметил, как его овцы смешались с куштаевскими.

— Пасти? — спросил мальчишку Митя.

— Ага, пасти! — ответил Серега и посмотрел на овец, которые уже с жадностью набросились на колоски, оставшиеся от чьего-то омета.

Мальчишка опустил воротник шубейки и принялся хлестать по старым стеблям полыни прутиком, прихваченным на своем дворе.

Митя боднул носком сапога ком навоза, косо посмотрел на Серегу и сплюнул, полагая, очевидно, что этим вполне выразил крайнюю степень своей неприязни к Маркину-младшему. Может быть, он вспомнил слова отца: «Вырастил на нашу шею одного камакшонка, теперь растит другого». Сплюнув еще раз, Митя вдруг объявил:

— Если уж втерся в мою компанию, смотри за овцами. Я скоро вернусь.— Не прибавив больше ни слова, зашагал в сторону своего гумна.

Гумно у Куштаевых большое, обнесено высоким плетнем. В одном конце его стояла высоченная и широкая рига. Митя дошел до изгороди, открыл плетеные ворота и скрылся в риге. Взяв грабли, принялся сгребать сено, а выйдя из риги, поправил остатки копен и ометов.

Овцы продолжали подбирать корм. Серега приблизился к куче старой, посеченной мышами, почерневшей соломы и плюхнулся на эту сечку. Вытянул ноги, руки закинул под голову и, лежа на спине, смотрел в синее небо.

А небо было таким ослепительно ясным, что перед глазами Сереги стали появляться разноцветные круги — красные, голубые, зеленые. Он закрыл глаза, чтобы избавиться от этих нарядных обручей, но они и тогда стояли перед ним. Серега прикрыл глаза варежками, хотел

прикорнуть чуток, но тут же откуда-то с вышины, словно из тех далеких ослепляющих кругов; донеслись до него звуки: «кур-лы, кур-лы».

Серега открыл глаза, сбросил варежки и до острой боли, пока из глаз не покатились слезы, всматривался в синеву неба.

Но вот он увидел крохотные бусинки, как бы нанизанные на две длинные, расходящиеся клином нитки. Серега смотрит на эти колеблющиеся нити, и ему кажется, что кто-то невидимый подергивает за них. Они то скрываются за белыми облаками, то вновь вынырнут.

«Дикие гуси, наверно,— подумал Серега,— летят обратно к нам... На озеро Ильмень летят, потому радуются. Похоже, из далеких краев, очень устали, вишь как качаются. Как они смогли отыскать наше Ильмень-озеро? И как они держатся на небе? Хлоп-хлоп крыльями — и все? Непонятно!»

III

Ильмень-озеро, в самом деле, только для диких гусей и уток. Ни длины, ни ширины нету у него — без конца и края. Может, никто и на лодке не пересекал его ни вдоль, ни поперек. Серега видал его только с горы. Да и тогда ему открывались лишь макушки ветел, ольхи и черемухи.

Вот и сейчас Серега видит все это. По-над краем горы бежит к Медведице подковообразная дорога. Серега с отцом едут к этой реке купать лошадь. Они едут верхом — вдвоем на своей кобылке. Слева от дороги — гора, которую распахивают. Справа, под горой, на сколько хватает глаз, растут высокие ветлы, кудрявые в сережках ольхи, такая же кудрявая черемуха. Весной, во время цветения, кажется, что черемуху повязали белыми платками. У подножия всех этих деревьев раскинула свои ветки черная смородина. А дальше — без конца и края — сплошные массивы русоголового камыша, густо-зеленого тростника. И все это до самой зимы стоит по грудь в такой же зеленой воде Ильмень-озера.

Когда идешь по этой дороге ранним-предранним утром с удочкой, озера не видать, оно задернуто мягким белесым туманом вместе с окружающим его лесом. А коли крикнешь с этой горы, то оттуда, от озера, тебе тотчас же ответит твой и вроде бы уж и не твой голос. А что тут вы-

творяют на зорьке птицы! Отовсюду слышится стрекот сорок; аукуются, точно играют в прятки, кукушки; мяукают по-кошачьи иволги; лучшей своей песней встречают соловьи. А от лягушек хоть затыкай уши.

По весне, когда вскрывается и выходит из своих берегов разъяренная Медведица, озеро, как гигантское блюдо, до краев наполняется водою, утопляя макушки камыша и тростника. Полая вода разливается от Сивеньков до Вязановки, от Гая до Бобровки, и все это море кишит дикими утками, гусями и рыбой.

«Летят, на Ильмень-озеро летят»,— говорил себе Серега и, провожая птиц, махал рукой. А когда они скрылись из глаз, вытащил из-под шубейки книгу. «А. С. Пушкин. Руслан и Людмила. Поэма»,— шептал Серега, поглаживая переплет.

Который уж день носит с собой Серега эту книгу, но так и не понимает слов: «Руслан» и «Людмила». Отец, когда купил ее, рассказывал, что так зовут людей. Руслан — это мужчина, а Людмила — женщина. Но отчего же в Сивеньках нету таких имен? Тут назвали бы: Родька и Лушка. А может, эта книга как раз и написана про них — про Родьку Рушнева и про его жену Лушку? Но они сроду не покидали своего села и, кроме паршивой своей козы, ничего не знали и знать не хотели. А тут вон что пропечатано!..

И Серега по складам стал читать первую страницу:

> У лу-ко-морь-я ду-уб зе-ле-ный;
> Зла-та-я цепь на ду-бе том:
> И днем и но-о-чью кот уче-ный
> Все хо-о-дит по це-пи кру-у-гом;
> И-и-идет напра-во — песнь за-а-во-дит,
> На-а-ле-во — сказ-ку го-во-рит...

Серега устал, он вытер с лица пот и призадумался: «Ну и выдумщик же этот А. С. Пушкин! Таких котов не то что у Родьки Рушнева, но и во всем селе не отыщется, которые бы сказки рассказывали и песни пели. А что это за слово такое: «лукоморье»? Серега такого никогда не слыхивал и теперь не может взять в толк: «Лука морит?.. Лукино море?...» — нет, не то. Не мог понять и слова «Поэма». Не помог и отец — тоже не знал. Скорее всего, так зовут женщину или девочку. И все-таки от книги нельзя было оторваться. В полон взяла она мальчишечье сердце. Серега никогда уж не расставался с ней.

IV

Серега вспомнил день, когда впервые увидел книгу. Ему казалось, что это было давным-давно, хотя с той поры прошло три-четыре года.

Размечтавшись, он опять посмотрел на небо. Перед глазами вновь появились сине-зеленые круги, и Серега снова смежил веки... и не диких гусей уже видел, а лютую зиму. Вот и проулок возле их дома. Поперек проулка от крыши до крыши горбится высоченный сугроб, перегородивший дорогу. Такие же сугробы у плетней, по краям дворов. Ими, словно толстенными белыми канатами, спутано, перевязано все село. Сугробы так схвачены и так спрессованы морозом, что по ним девочки катаются на ледянках, а мальчишки — на «козлах», похожих на скамейки, только с рогами, и на салазках. Вечерами, под призрачным, нежным светом луны, сугробы кажутся великанскими белыми брусьями, о которые зима точит острые языки поземок.

То в одном, то в другом окне изб замерцает вздрагивающий, робкий огонек. Лишь по нему и чуется, что село и в такую стужу живет.

В такую-то зиму и приехала однажды к Константину Павловичу незамужняя сестра жены Фрося, приехала попрясть вместе с подругами. Узнав об этом, в избу Маркиных по вечерам стали приходить со своими прялками и гребнями соседские девушки. Сельские парни будто ждали этого часа и теперь не пропускали ни одного вечера, чтобы не собраться в этом доме.

Зимой задняя изба Маркиных — темна и холодна: ее не протапливают и не зажигают в ней лампы. Тут зимовали либо теленок, либо ягнята. Совсем другое дело — передняя изба, или горница, как ее иногда величают сельские жители. Посреди комнаты с потолка на длинной проволоке свисает лампа с семилинейным стеклом. Вечерами эта половина дома бывает хорошо натопленной.

Вот и сейчас у голландки лежит солома, оставшаяся после топки. На длинных скамьях, расставленных вдоль стен, чинно сидят девушки — прядут. Жужжат прялки. На больших и высоких деревянных гребешках — мочки кудели, похожие на белые бороды стариков, волнистые, мягкие. Девичьи пальцы проворно подергивают пушистое волокно из мочек, словно доят коров, только из-под паль-

цев струится не молоко, а упругие тонкие нитки, которые затем наматываются на веретено.

Но вот открылась дверь, и в комнату один за другим вваливаются несколько парней, вваливаются с шутками-прибаутками — в валенках, шубах, шапках. В открытую дверь вслед за ребятами, будто белое облако, хлынул холодный пар. Поздоровавшись с девушками, парни стали устраиваться кто где: одни — рядом с пряхами молодыми, другие у голландки, прямо на полу, на соломе. Усердие прядильщиц сейчас же пошло на убыль. Уже слышится стыдливо-сердитое, чуть внятное: «Отстань от меня, медведь!.. Вот гребешком поддену, будешь знать. Не мешай!» А иная прядет себе да помалкивает. Рада-радешенька, видать, что рядом с ней присел милый, тот, по ком только и думает.

Лишь одна Фрося не обращает никакого внимания на парней. Она тут гостья, и ребята ей незнакомы. Девушка стесняется их. Может, и думает про себя: «Гляньте-ка вот, как я пряду, не то что ваши избалованные подружки!» Видно всем, что Фрося старается изо всех сил, хочет понравиться здешним кавалерам!

Серега видит все. Он лежит на полатях, откуда ему все видно и слышно. Слышно, как гудят трудолюбивыми пчелами прялки, как разговаривают меж собой парни и девчата, как посмеиваются друг над другом. Серега пытается понять, угадать, какой парень какую девушку любит, зорко всматривается то в одних, то в других, особенно в Фросю. Она же, как назло, ни головы не подымет, ни слова не уронит. Вот и пойми ее! Ну погоди же, Фрося, от Сереги не укроешься, выследит он и тебя!

Тюма Борякин, развалившись с дружками у голландки, вытащил из-за пазухи книгу. Все парни немедленно собрались возле него. До Сереги донеслось:

— Как называется книга?

— «Стихи»,— ответил Тюма.— Песни, значит,— солидно пояснил он.

— Да ну! А кто их сочинил?

— И. З. Суриков.

— А ну покажи!

— А картинки есть?

Тюма один из немногих на селе окончил церковно-приходскую школу, все товарищи считали его грамотеем и любили за то, что он хорошо писал и читал, и готовы

были считать его своим вожаком. Он не спеша раскрыл книгу, несколько голов тут же склонились над ней.

Серега давно уже перестал думать о Фросе и, соскочив с полатей, пробрался к кружку. Туда-сюда сунет голову, но нигде не найдет даже малой щели, чтобы хорошенько разглядеть диковинную книгу. «Будто поросята у корыта — толкаются, глянуть не дают»,— в сердцах подумал Серега и все-таки просунул голову меж двух парней.

Ох, мама моя родная, каких только картинок там нет! Вот на сером волке скачет девушка — красавица из красавиц. Косы разметались по плечам. «Видать, перепугалась очень: волосы не подобрала»,— решил Серега. На другой странице такой же красавец парень держит в руках жар-птицу — этаких Серега отродясь не видал. Что там синица или какой-то зяблик! У этой вон какие перья, а крылья огнем полыхают.

Тюма между тем читал:

Как Иван-царевич
Птицу-жар поймал,
Как ему невесту
Серый волк достал...

Вот хотя бы пальчиком одним дотронуться до этой книги... Но где там! Притаив дыхание, он слушал Тюмино чтение.

После того вечера Серега ни о чем другом думать не мог. Он плохо ел, и во сне какой уж раз виделась ему все та же книга, будто сам держал ее в руках, как ту сказочную птицу, а когда проснулся — сердце сжалось от тоски. Неужели у него, у Сереги, никогда не будет такой книги?

Не скоро, не вдруг, но желание мальчугана сбылось.

Как-то, вернувшись с базара, отец протянул Сереге драгоценную книгу. Как обрадовался малец такому подарку.

С того дня отец стал понемножку учить сына чтению.

V

Теперь у Сереги была другая книга. Ее написал Александр Сергеевич Пушкин!

Полеживая на прошлогодней соломе, мальчик опять погладил теплой ладонью томик и собирался было раскрыть его. В эту-то минуту к нему и подошел Митя.

— Это что у тебя? — спросил он.

Серега от неожиданности вздрогнул, потом поднял голову.

— Книга,— ответил нехотя.

— Может, писарем хочешь стать? Поди, и читать-то не умеешь, а книгу держишь в руках. Дай-ка я сам тебе что-нибудь прочитаю.

Митя выдернул из Серегиных рук книгу и стал ее рассматривать. Что-то пробормотал себе под нос, вырвал незаметно листик и вернул книгу.

— Возьми. Не мне читать, не тебе слушать эти побасенки,— сказал он.

— Это не побасенки, а сказки,— ответил Серега, забирая книгу.

— Побасенки, сказки — все одно обман, болтовня пустая.

Серега тут же обнаружил, что один лист из книги вырван. Его точно кипятком окатили. Он вскочил и набросился на Митю.

— Зачем оторвал? — кричал он.— Зачем? Где листок? Эту книгу ведь Пушкин написал!

— Ты что это набросился на меня, как хорек? Какой Пушкин?

— Самый такой!.. Где картинка? Где кот, привязанный к дубу золотой цепочкой? Отдай сейчас же! Отдай, тебе говорят! — сквозь слезы кричал Сергей.

— Какой кот? Какая цепь? Тебя самого надо заковать в ржавую цепь, волчонок! — закричал Митя и злобно толкнул Серегу. Мальчик упал на солому и заревел. Митя, не глядя на него, как ни в чем не бывало, принялся крутить цигарку. Закурив, сказал Сергею:

— Не хнычь. На вот, потяни, легче будет.

Серега в знак протеста тряхнул плечом, заревел еще громче.

— Курнешь, что ли, спрашиваю тебя? — крикнул Митя.

— Я не умею,— наконец ответил Серега и глянул на Митю.

— Какой же ты мужик, ежели курить не умеешь! А кричал еще «уря, уря», «на буржуев!» — помнишь? А сейчас нюни распустил.

Серега устыдился своих слез, сказал:

— Ну и кричал! Что ж тут такого? Все кричали, и я с ними!

— А я тебе чего толкую. Все курят, и ты кури. Гляди,

как это делается,— и Митя затянулся цигаркой.— Табаки у меня разных сортов: есть крепкий, есть и послабже,— говоря так, он незаметно от Сереги обломал ногти с пальцев левой руки и бросил в махорку. А про себя думал: «Вот я тебя сейчас угощу, покажу тебе, камакш!..— небо покажется с овчинку!..» Из этой мешанины Митя завернул новую цигарку, закурил и, протягивая Сергею, сказал: — Эта закрутка совсем другая. На, потяни!

— Сказал, не буду! Что пристал?

— Эх ты, сосунок. А еще книги таскаешь с собой! Небось ни одной буквы не знаешь!

— Это ты не знаешь, а уж жениховаться стал. А я знаю и читать умею.

Серега собирался, было, показать это, но Митя остановил его:

— Верю, верю. А знаешь, друг: ведь все, кто умеет читать, непременно курят. Разве ты не знаешь? Куренье, брат, ума прибавляет, прочищает мозги. Черт с тобой, не кури. Мне-то какое дело! — сказал Митя и с видом оскорбленной добродетели отвернулся от Сереги.

Серега задумался — какому мальчишке не хочется поскорее стать взрослым? Еще немного поколебавшись, он взял цигарку. Митя проворно чиркнул спичку и сунул под нос Сереге. Но цигарка никак не хотела поддаваться огню. Тогда Митя взял из Серегиных рук самокрутку и показал, как надо прикуривать.

— Вот как делают настоящие мужики... Понял? Ну, бери.

Серега глубоко затянулся и чуть было не задохнулся, разрядившись бурным кашлем.

— Сказал, не умею! — обливался слезами Серега, возвращая цигарку.

Однако Митя оказался учителем настойчивым.

— Эх ты, голова — пустой арбуз! «Ура» кричать умеешь, даже читать книжки умеешь, а курить никак не научишься! Давай сызнова!

Серега опять взял самокрутку, затянулся и выпустил дым, как это делают взрослые. Митя руками, губами, даже как-то несуразно притопывая ногами, показывал, как надо затягиваться. Мальчишка старался. От первой затяжки он чуть было не задохнулся, но все-таки откашлялся. Потянул во второй раз, третий... Чуть погодя, затянулся еще, и тут словно кто острый кол вонзил ему в

грудь. Дыхание оборвалось, глаза заволокло туманом. Видя это, Куштаев-младший начал торопить:

— Давай, давай, Серега, еще разок! После этого лучше будет!

Но Серега уже ничего не слышал. Небо опрокинулось, земля пошла кру́гом, и Серега крутился между небом и землей. А потом и ничего не стало.

Он потерял сознание.

Митя ухмыльнулся и пошел прочь, мысленно повторяя слова отца: «Пусть смолоду сгниет этот камакш. Не быть ему здоровым и крепким. Может, от цигарки загорится солома, и этот щенок сгорит. Потом ищи-свищи виноватого!»

Митя погнал овец в село.

Пожара, однако, не случилось. Острый приступ тошноты спас несмышленыша. Хлынувшая рвота погасила самокрутку.

VI

Солнце уже садилось. Овцы Константина Павловича у села отделились от отары Куштаева и побежали к своему двору. Все они были в репьях. Мать Сергея встревожилась: овцы пришли, а пастуха нет.

— Бегает где-нибудь, заигрался. Придет — никуда не денется,— сказал Константин Павлович.

Но время шло, а Серега не появлялся. Забеспокоился теперь и отец — к вечеру сам собрался на гумны. Долго бродил там. Уж собрался домой, когда увидел на прошлогодней соломе что-то похожее на овчину. Подошел ближе и ахнул: Серега! Отец нагнулся. «Что такое? Что стряслось с ним? Почему весь в блевотине и не поднимает головы?» — затормошил он сына, тот очнулся.

— Что с тобой, Серега?

Признаться сразу, что курил, Серега не мог: такое признание непременно обернулось бы поркой. Мальчишка поэтому молчал. Но отец уже и сам понял по табачному резкому запаху и по валявшемуся рядом с Серегой окурку.

— Митька учил меня курить. Я затянулся и заснул вот,— признался Серега.

— Подлец! — только и сказал Константин Павлович, ведя сына домой.

О случившемся рассказал жене и сейчас же направился к Куштаевым.

У Куштаевых на ту пору в самом разгаре было веселье. Гава Капитанов, старший сын Куштаева Антон и сам Василий Силыч сидели за столом, пили.

Узнав о приходе Маркина, старик Куштаев стукнул по столу кулаком и поднялся со своего места. Но Гава быстро подхватил его за рубаху и возвратил за стол.

— С ума сошел, старый! Кто же так делает? Зачем кипятишься? Так разве встречают гостей! —с этими словами Гава двинулся навстречу Маркину: — О-о! Константин Павлович! Ты ли это! Сколько лет, сколько зим! Сам уж собирался навестить тебя, а ты — вот он! Ну-с, Василий Силыч, налей-ка гостю! Чего ждешь?!

Куштаев и головы не поднял, налил в стакан мутноватой влаги и резко подвинул на край стола.

— Спасибо за угощение, но я не гулять к вам пришел,— сказал Константин Павлович.— Я к вам с жалобой. Ваш Митрий моего Серегу чуть было на тот свет не спровадил — угостил глупого мальца цигаркой, тот сознание потерял.

Куштаев, как ошпаренный, вскочил со стула, бельмо бешено запрыгало на его глазу. Он сделал два шага к Маркину и взял его за грудки.

— За такую... такую клевету... задушу! Под суд отдам! — кричал старик.

Между ними сейчас же оказался Гава.

— Ну-с, односельчане, так дела серьезные не решаются. И вам не стыдно? Василий Силыч, оставь человека в покое! Плохого он тебе ничего не сделал,— и Гава легонько, но решительно оттолкнул хозяина от гостя.

— Знамо, милок, ничего: не подметал хлеб в моих сусеках, не уводил лошади, не ел меня поедом — ничего худого не делал. Тогда кто же?! — кричал Куштаев.

— Камакшев, Камакшев, Силыч! Он тут комиссарничал!

— А один черт — что Камакшев, что Маркин! Одного поля ягода.

Маркин, не сказав ничего, вышел.

Старик Куштаев порывался было догнать непрошеного гостя, но его опять остановил Гава.

— Кто же так грубо работает? — набросился он на

хозяина, шагая по комнате.— На рожон лезешь! Осторожнее надо, с умом! Времена не прежние!

Все, кто находился в передней, притихли, молча внимая речам его благородия.

ГЛАВА ПЯТАЯ

I

Легкий теплый пар стлался над засыпающей землей. Небо раскрыло неисчислимое множество своих глаз-звезд и засмотрелось на угомонившуюся землю.

Константин Павлович еще дотемна приготовился к завтрашнему дню: колеса стоявшей у ворот телеги смазал густым дегтем, приготовил дугу, прислонив ее к основанию оглобли, подтянул, выровнял тяжи, проверил чекушки. На телегу загодя водрузил соху. Длинная и как бы ссутулившаяся соха походила сейчас на человека, которого связали, положив на скамью, и приготовились сечь розгами. Оглобли сохи, будто жилистые руки, вытянуты вперед; сошники походили на жалкую бороденку старика. В соху палачески вонзились железные зубья деревянной бороны.

Лукошко сеятеля и мешок с семенами дожидались утра на крыльце. Здесь же на деревянных крючьях висели хомут, седелка, вожжи. Лошадь жевала в конюшне густо заправленное месиво. Словом, все было готово.

И все-таки заснуть в ту ночь Константин Павлович не мог. Да и мог ли кто из пахарей заснуть, когда надо было еще до зари выехать в поле! На свое поле, на свой клин, который достался после передела общинных земель. Хороша ли на том клину почва? Что на ней может уродиться? Все это не давало покоя Константину Павловичу.

Вспомнился Маркину и его собственный поход к Куштаевым из-за Сереги. В тот раз Гава даже заступился за Константина Павловича, не дал старому злыдню-хозяину наброситься на него. А вскоре Гава и сам пожаловал в дом Маркиных.

«Постой, постой, о чем это Гава тогда говорил мне? — припоминал Константин Павлович.— Ах, вон о чем!.. Ну,

и лиса... Все расспрашивал о Петре. Как будто сам не знает, кто теперь Петр Андреевич Камакшев. Да вроде бы еще и жалел меня — наставлял, советовал, чтобы я созвал помочь. Поставь, мол, ведро самогонки — и всем твоим заботам-хлопотам об себе будет конец. И папаша мой, дескать, ежели будешь с ним по-хорошему, не поскупится — выделит лошадку. Как бы не так! Лошадёнку?.. Да кто тебе ее сейчас даст?»

Константин Павлович поднялся до рассвета. Быстро запряг лошадь, уложил на телеге семена, лукошко, Прасковья Карповна — завернутые в полотенце блины. Кувшин с кислым молоком, кваску — тоже запеленала и обложила мокрым сеном. Со всеми делами управились — все было готово к отъезду. Оставался только сын.

А Сергей спал еще сладким, крепким сном. Константин Павлович подошел к кровати сына и задумался, жалко было тревожить мальца, но вечером Серега просил, прямо умолял отца взять его с собой в поле. Поколебавшись чуток, принялся будить. Нет, никак не хочет просыпаться. В это время он ничего не слышал и ничего ему не нужно было: ни поле, ни сев, ни весеннее солнце в синем-пресинем небе — только бы спать, спать.

Отец, однако, продолжал тормошить.

— Серега, вставай, сынок. Пора.

— Куда пора? Не надо...— бормотал сквозь сон Серега. Он смахнул рукавом рубахи слюну с губы и повернулся на другой бок.

— Как это — куда? А пахать, а сеять! Ты ведь вчера просил...

Серега даже не шелохнулся. Отец с матерью одели спящего, обули, Константин Павлович поднял сына на руки и отнес на телегу. Серега повалился между мешком с семенами и лукошком, едва не свалив при этом кувшин с кислым молоком.

Константин Павлович примостился на наклеске, и телега тронулась.

II

Путь был неближний. Однако ни дорога ухабистая и длинная, ни тряска на кочках и выбоинах — ничего не отпугивало Серегиного сна. Напротив, его точно в зыбке, укачивало, убаюкивало. Бородка старика, то есть сошники, склонялись над ним, словно оберегали сладкий сон.

Наконец они доехали до своей делянки. Константин Павлович с замиранием сердца остановил лошадь, окинул поле повлажневшими от волнения глазами, и только уж потом перепряг кобылку из телеги в соху и подкинул ей немного овсеца: пусть малость отдохнет, подкрепится после долгой дороги, наберется сил.

Когда отец стаскивал с телеги борону и соху, проснулся и Серега. Он так продрог на свежем утреннем воздухе, что с удовольствием забрался бы сейчас на печку и закутался в одеяло. Но мальчик тотчас сообразил, что они в поле, и сон как рукой сняло.

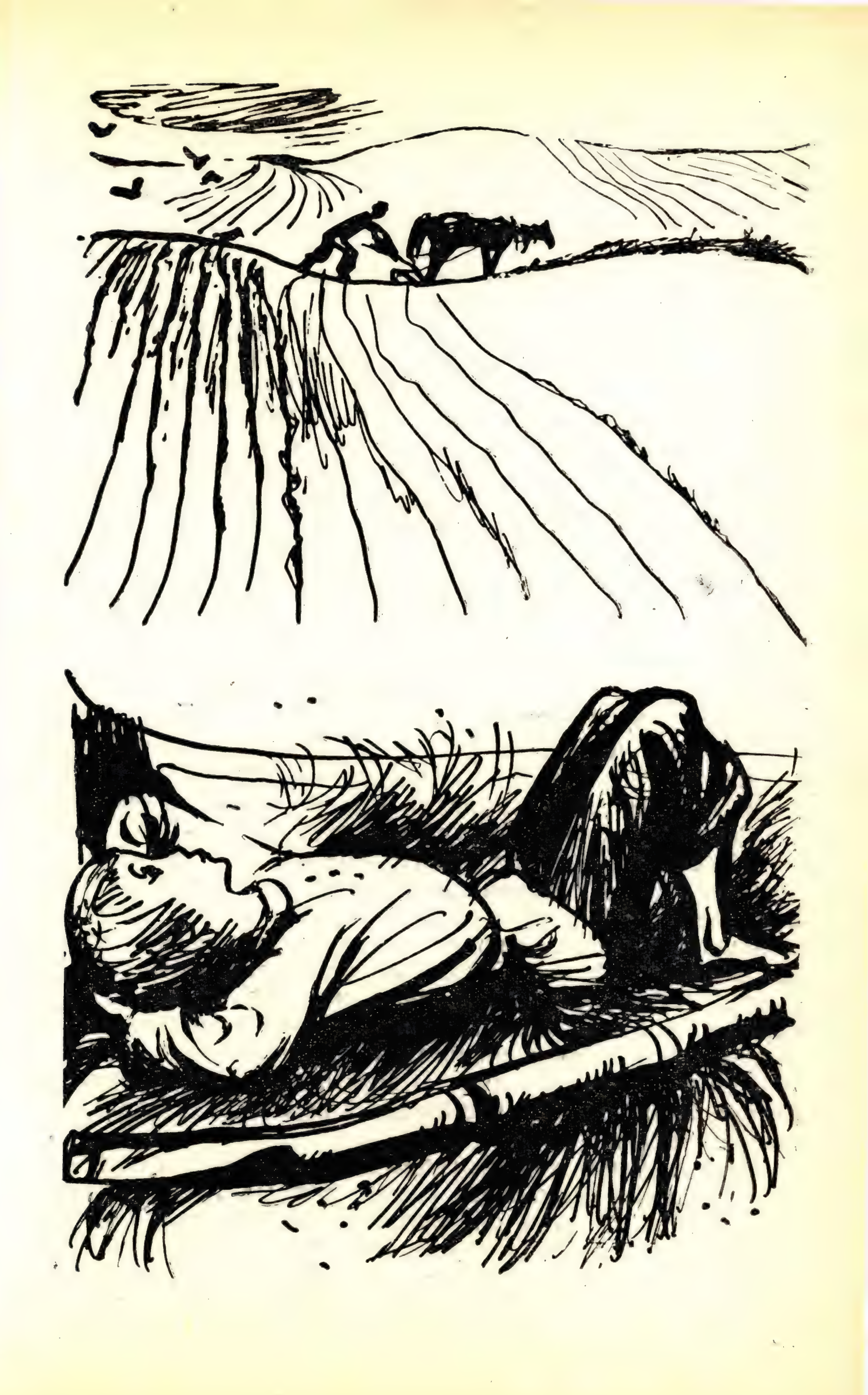
И вот Серега стоит посередь поля возле самой телеги и смотрит, как подымается солнышко. Небесное светило, едва показавшись на окоеме, опять напомнило ему «пожар», увиденный им в оттаявший пятачок замерзшего окна, и Серега улыбнулся. Теперь он с сильно забившимся от восторга сердцем смотрит на то, как далеко-далеко на востоке полыхают тучи, как из этих туч вырываются золотые фонтаны и освещают поле.

Тем временем отец уже засевал свой осьминник. Серега глянул и чуть не вскрикнул от радости: ладонь отца показалась ему маленьким облачком, из которого золотыми струями разбрызгивались семена.

По соседству с Маркиным собрался засевать свою десятину Куштаев. Около телег уже стояли две пары лошадей, запряженные в двухлемешные плуги. У края своего загона старик положил каравай хлеба, на каравай — просфору. Затем воткнул в хлеб свечу, зажег ее и, встав на колени, принялся молиться. Огонек свечи то мигнет, то метнется из стороны в сторону. Окончив молиться, старик поднялся на ноги, поглядел на солнце и затем пошел враскачку по полю со своим лукошком. Разбросав семена, вернулся к стану, поднял и поцеловал хлеб, затем уселся с сыном завтракать. Просфору поделили пополам.

Позавтракав и опять перекрестившись, приступили к пахоте. Старик с первой парой лошадей пошел вперед, Митя — за ним. На солнце масляно заблестели, залоснились жирные пласты земли. На черную борозду тотчас же опустились первые грачи.

Старый Куштаев сделал лишь один, «направляющий», круг. Затем передал свою пару сыну, а у второго плуга встал их работник. Сам Куштаев захватив топор, направился к видневшемуся вдали лесу.



Серега смотрит, как выбеленные землей лемеха переворачивают, укладывают за собой пласт за пластом, как быстро увеличивается пахота у Куштаевых. Мальчишка, наверно, долго бы еще наблюдал, но его окликнул отец. Закончив сев, он с пустым лукошком вернулся к телеге.

— Что, Серега, может, начнем и мы?

— Не знаю...— ответил сын.

Константин Павлович подошел к лошади, пучком соломы вытер ее круп, и они стали пахать. В начале первой борозды лошадь вел под уздцы Серега. «И тут Куштай остался Куштаем — зацепил-таки немного моей землицы. Хоть вершок, но все-таки прихватит чужого. Все ему мало!» — идя за сохой, думал Константин Павлович.

Когда вернулись с того конца делянки, он отпустил сына, и пахоту уже продолжал один.

Серега прошелся вокруг телеги, ища, чем бы заняться. От нечего делать, бросил на телегу пустой мешок и пиджак отца. Прилег и, прижмурившись, стал прислушиваться.

Над степью серебряными колокольцами звенели жаворонки. В светлое их песнопение врывались грубые голоса пахарей: «Но! Но!», «Ишь, заснула, пошевеливайся!», «Эк-ка, неужто уж устала!» «К борозде, к борозде ближе, черт те побери!», «Куда прешь, так твою перетак!» Это мужики покрикивали на своих лошадей, стараясь как можно больше вспахать за день.

«Отчего так,— думал Серега,— одни пашут плугами, другие сохами, а третьим вовсе нечем пахать. Непонятно. Вот если бы я был взрослым и у меня было бы три-четыре лошади, я бы непременно одну отдал самому бедному, вон хотя бы Абукаю. Пускай бы отпахался и отсеялся. Куштай небось так не сделает — жадный больно». В Серегину голову приходили еще какие-то очень важные мысли, но он не смог справиться с ними: незаметно для себя заснул. Трудные думы о неустроенностях мирских, горячие лучи солнца, однообразный шум полей притомили его, укачали.

Его разбудила лошадь своим всхрапываньем и глубоким, утробным дыханием. Серега открыл глаза — над ним — морда гнедухи, она легонько подталкивала его в бок, видно, искала корм — овес или сено.

Константин Павлович тем временем очистил от сырой липкой земли сошники и палицу, встал на краю поля,

уперся руками в бока и залюбовался своей работой: и вспахано много, и пахота что надо!

Подойдя к телеге, насыпал в лукошко, точно в торбу, овса и поднес лошади, отпустив чересседельник. Лошадь была вся в пене. Константин Павлович снова взял пучок соломы и тщательно обтер ее. Теперь на гнедухе поблескивала гладкая мокрая шерстка. Вытащив кувшин, в котором был квас, который он еще утром закопал в землю, чтобы квасок был холодным, начал жадно пить прямо из горлышка. Учуяв это, лошадь подняла голову, поглядела в сторону хозяина и тихонько заржала — так она всегда просила пить.

— Пап, гнедуха пить захотела. Глянь, как смотрит на тебя! Дай я съезжу в Тростникову лощину, напою ее,— попросил Серега.

— Она потная. Такую поить нельзя — захворает, ноги отымутся,— сказал отец, вытирая губы тыльной стороной ладони.— Вот немного поостынет, тогда... А сейчас давай пообедаем!

Константин Павлович достал блины, кислое молоко, посуду, они уселись в холодке под телегой. Лошадь пофыркивала над их головами, с неохотой хрумкала овес, перебирала ногами, махала хвостом, отгоняя назойливых мух, липнущих к мокрому крупу.

III

В степи дышать нечем — жара. Солнце стало припекать, едва приподнявшись над горизонтом, а сейчас палило нещадно. На небе ни облачка — вокруг тихо, не чуется даже малого дуновения ветерка.

Митя и работник не останавливали пахоты, не приступали к обеду: похоже, ждали, когда из лесу вернется старик.

Константин Павлович прилег под телегой передохнуть. Серега убрал посуду, остатки еды.

— Я самую малость полежу,— сказал он сыну.— Подымусь — поведешь гнедуху поить. А потом — опять пахать. Жара немного спадет.

Но вот потянуло свежим ветерком. Откуда-то выкатилась на небо небольшая тучка. Она все росла и росла. Небо стало сереть вокруг нее. Вскоре грянул гром. Митя, не дождавшись отца, привел лошадей на стан. От громово-

го раската проснулся и высунул из-под телеги голову Константин Павлович, огляделся.

— Быть дождю. Вот если бы смирненький, да что-то не похоже...

Ветер подул сильнее, сверкнула молния, снова ударил гром. И вот уже первые капли дождя оставили на пыльной дороге глубокие оспины.

Серега схватил одежду, порожний мешок и спрятался под телегой. Дождь меж тем усиливался, молния то и дело распарывала тучи, гром гремел почти непрерывно.

— Ого! Вот это да! — воскликнул Константин Павлович, когда глянул на свой загон, по которому скакал вприпрыжку крупный, с голубиное яйцо, град.

Серега не вытерпел и выскочил из-под телеги. Нахлобучив лукошко на голову, стал прыгать под дождем и градом. В лукошко, словно в барабан, стучали ледяные горошины. Это веселило мальчишку, и он кричал, радостно хохоча: «Вот это да! Вот это да, ха-ха-ха!»

Отцу, однако, было не до веселья. Гнедая забеспокоилась. Она хотела было пуститься галопом через поле, но хозяин успел схватить ее за узду и привязать к телеге. Лошади Куштаевых сбились в кучу, запутались в постромках, вздымались на дыбки, храпели испуганно. И когда готовы были помчаться вскачь, Митя до самых рам запустил лемеха плугом в землю. Лошади рванули было раз другой, но не смогли тронуться с места.

IV

Из леса к своему стану бежал Куштаев. Он был без картуза — похоже, уронил где-то в лесу. Голову старался прикрыть ладонями. Куда там! Градины к тому времени падали размером чуть ли не с куриное яйцо. Митя и работник не видели старика: они забрались под телегу. Серега тоже перестал резвиться, нырнул под телегу и прижался к отцу: ему стало страшно.

Один старый Куштаев оставался теперь на пустынном поле. Он никак не мог добраться до своего стана. Время от времени падал, вбирая голову в плечи, и, передохнув чуток, вскакивал на ноги и бежал дальше не по годам резво. На четвереньках он все же добрался до своей десятины, залез под телегу и, отдышавшись, обрушился на сына с бранью, будто тот накликал беду.

V

Не только Серега, но и его отец, и все, кто был в эту пору в поле, перепугались разбушевавшейся стихии.

«Не дождь, а потоп какой-то,— думал Константин Павлович.— Ранней весной и такой страшный град — слыханное ли дело?!»

Вся степь сделалась белой.

Все, однако, рано или поздно кончается. Стихла понемногу и гроза. Белые, с черными отливами тучи ушли куда-то за Сивеньки, в сторону Кедровска. А в этом месте, откуда они появились, начало светлеть.

Куштаевы засобирались домой: делать в поле было нечего. Запряг свою гнедую и Константин Павлович. Промокшие до нитки люди торопились домой.

Первыми на двух своих подводах выехали Куштаевы. На передней — Митя с работником, на второй — сам хозяин. За ними — Маркины.

Выехать-то выехали, но как, однако, добраться до села? Повсюду шумит вода. В лощинах она выше колес. Перед одной лощиной пришлось остановиться. Тут бушевал настоящий поток, срывая все на пути, выворачивая даже камни. Отовсюду слышались испуганный лай собак, конское ржание, блеяние овец, мычание коров и телят, переполошные крики людей. Вон барахтается в воде собака, она никак не может добраться до берега — мутная вода относит ее в сторону. Там — чей-то козел попал в беду: поверх воды торчат лишь рога да борода, плывут овцы и телята — никто не ловит их, не спасает. Людям не до животных: как бы самим не утонуть.

Первым из возвращавшихся перейти эту водную преграду рискнул Митя. Он хлестнул кнутом лошадей, и те широкими, отчаянными скачками вынесли его телегу на противоположный берег. Митя не мог простить отцу давешней ругани и потому не стал его дожидаться — не оглянувшись назад, рысью помчался домой.

Двинулся следом Куштаев. У него не было кнута, поэтому стоя на телеге в полный рост, он, покрикивая на лошадей, в ярости дергал вожжи, поторапливал неохотно вошедших в воду кобылок. Как раз посередине потока телега скособочилась, и старик, как мокрый сноп конопли, свалился в бурлящую воду. Плавать Куштаев не умел, барахтался в воде, размахивая руками как попало, и кричал во всю мочь, взывая о помощи. Поток относил

его вниз, и теперь только одна бороденка виднелась на поверхности, как у того козла.

Все это происходило на глазах Константина Павловича. Не долго раздумывая, он кинулся в воду: какой-никакой, а человек тонет — надо спасать!

— Папанька, утонешь! Па-пань-ка-а-а! — кричал Серега, но отец уже не слышал его.

Выбрасывая руки большими саженками, он быстро настиг старика. Одной рукой подхватил его за шиворот, а другой начал подгребать к берегу. Куштаев судорожно вцепился в эту руку, но, к счастью, Маркин уже почувствовал под ногами землю. Идя по шею в воде, он нес на поднятых руках старика. Тот походил на мокрого кочета — только вместо гребешка на его плешивой макушке была преогромная шишка, оставленная на память крупной градиной. По реденькой, козлиной бороденке стекала мутноватая водица. Старик дрожал по-щенячьи, отплевывался и сквозь слезы бормотал:

— Спаси тебя Христос, милок!.. Без тебя отдал бы богу душу... Кабы не ты — утонул, сгинул бы в проклятом этом потопе!.. Во веки веков не забуду про твою доброту, вот те крест!.. Ты уж меня, Палыч, прости за обиду, какую я тебе причинил глупым своим языком... Не в своем разуме был — хватил, видно, лишку...

— Я зла долго не держу, Силыч. Спасибо, что успел вовремя подхватить, не то пришлось бы тебе кормить раков в Медведице. Благодарить меня нечего. Как же иначе — живая душа пропадает! — и позвал старика на свою телегу, так как Митя, перебравшись на ту сторону, не оглядываясь, ускакал домой.

VI

Через два-три дня земля подсохла: солнце и ветер сделали свое дело. Пахари снова выехали в поле. Тут они убедились, что верхний слой пахоты вместе с семенами смыл недавний ливень. Теперь все надо было начинать сызнова: перепахивать весь загон — от первой борозды до последней.

На этот раз Маркины собрались сеять под борону. Так, видно, порешили и Куштаевы, которые, не приступая к севу, тотчас же принялись за пахоту. Сам Куштаев опять отправился в лес.

Но и на этот раз Маркиным не повезло. Хорошо поработали они только до обеда, успев подправить прежнюю пахоту. А после обеда...

Нижний конец делянки был сильно засорен пыреем, и земля там была еще сырая. Когда Константин Павлович и Серега, который так наловчился ходить за сохой, в четвертый или пятый раз подымались с того конца, в сохе обломилась дужка палицы. В ней была небольшая трещина, и теперь в вязкой, переплетенной тугими корнями пырея земле сломалась окончательно.

— Пап, может, как-нибудь свяжем ее?

— Нет, сынок, так она долго не продержится,— сказал отец и, вздохнув, посмотрел на свой загон.— Нынче бы закончили, вспахали бы все. Надо же случиться такому! Невезучие мы с тобой, Серега!

Теперь они могли лишь посеять и заборонавать то, что успели вспахать.

Когда зацепили постромками борону, отец сказал:

— Ну, Серега, приспела твоя очередь: я пахал — ты боронуй. Садись верхом, так тебе будет легче.

Серега лучшего и не ожидал. Отец помог ему взобраться на гнедуху, в тот и обратный конец провел лошадь сам, показал, как надо бороновать в два следа, и после этого присел переобуваться.

Пришел Куштаев.

— Бог в помочь, Палыч! Вижу, пахать не кончил, а уж боронуешь. Что — так? — сказал старик, присаживаясь рядом.

— То правда. Поломалась вон энта хреновина,— Константин Павлович указал на сломанную палицу.— А то бы нынче управились с пахотой.

— Жадничаешь, милок. Единым махом захотел поднять осьминник... Единым разом...

— Хотел, да вот не вышло. А ты, кажись, опять в лес наведывался?

— Ходил... так, от нечего делать. Нужда все ж таки была небольшая: топоришко там затерял днями. Ходил, разыскивал. Да и дровишек на истопку хотел наскресть — где ветку сухую, где гнилой пенек — все сгодится для печки. В лесу сейчас благодать — птички, божье созданье, поют...— Помолчал, подумал о чем-то, заговорил снова: — Ну, как же теперь ты с сохой-то? Палица, говоришь, лопнула?

— Лопнула... Да что-нибудь придумаю. Отнесу в куз-

ницу — исправят,— завертывая онучи, ответил Маркин.

— Кузня, я слыхал, не работает, а земля-то, милок, ждать не будет,— Куштаев посмотрел в сторону своего сына и, дождавшись, когда к этому концу приблизились его пахари, позвал:

— Эй, Митя-а-ай! Давай-ка сюда-а!

Митя остановил лошадей и подбежал к отцу.

— Что? — запыхавшись, спросил он.

— Пустой череп дурной головы — вот что! Веди сюда свою пару! Вишь, у шабра лопнула дужка палицы. Надобно помочь.

— Ничего не вижу. Нам самим пахать надо! — ответил сын.

— Цыц! — рявкнул на него Куштаев-старший.— Не твоего ума дело. Сказано — помочь шабру, ну и сполняй!

— Зачем ты это, Василь Силыч?

— Как это — зачем? Ты что же, Палыч, хочешь, чтоб твой клин только наполовину остался засеянным?

— А я и не думаю его так оставлять. Вспашу и засею.

— Это когда еще будет! Ты вот что, Палыч, гордыню-то спрячь — пригодится для другого случая. Ты меня спас. А я что — не человек?

— Не корысти ради я тогда... Кто ж думает в такую минуту о расплате? Сердце так велело.

— Вот и мое так же подсказывает.

— Сам управлюсь, чужой помощи не хочу!

— И-и-и, не перечь, шабер! Для моих плугов тут и делов-то на полчаса, а для тебя они целый год означают. Доброе дело не пропадает. Я ж говорил, что век буду помнить! — Оглянувшись, он увидел Митю на прежнем месте. Это еще больше подогрело старика. Он закричал: — Какого дьявола ждешь? Сейчас же беги, паршивец, на стан! Чтоб одна нога тут, другая там! Слышь? Не то...

Митя нехотя повернулся и, нагнув по-бычьи голову, поплелся к своему стану. Как раз в это время Серега заходил со своей бороной на следующий круг. Когда он поравнялся с Митей, тот, забежав сзади, встал обеими ногами на раму бороны. Ее зубья до корней погрузились в землю. Гнедуха сразу остановилась. Страшно довольный, Митя спрыгнул с бороны и огрел Серегину лошадь кнутом. Гнедая что есть силы рванулась вперед. От неожиданности Серега кубарем полетел вниз.

Этого не видели старый Куштаев и Константин Павлович. Серега смолчал о своей обиде, вскочив на ноги, показал Мите кулак. Потом подошел к лошади, вытащил из кармана корку хлеба, сунул ее гнедухе под ноздри и положил на землю. Кобылка нагнула голову. Сереге того и нужно было: в один миг он оказался на шее лошади, а затем на спине. Усевшись как следует, мальчишка снова начал бороновать.

Мите ничего не оставалось, как повернуть своих лошадей на делянку Маркиных. Он поставил их в борозду и с непонятным для животных ожесточением стеганул кнутом. Плуг с сочным хрустом стал отваливать огромные ломти земли.

— Вишь, Палыч, как пошло дело! Ты и плюнуть не успеешь, как Митя управится с пахотой. Только больно уж упрям, сукин сын!

— Спасибо, Василь Силыч. Но только зря. Обошелся бы как-нибудь и сам.

— «Как-нибудь»! Ишь ты! Землица, мил человек, не любит, когда с нею как-нибудь... Вот что я тебе скажу, шабер. Выбрось ты эту соху, не обижай землицу, не калечь ее.

— А что же мне делать?

— В таком разе помочь созывай. Всего-то и нужно от тебя — две четверти самогонки, и вся недолга, милок. Я выделю лошадку, Капитанов даст, своя у тебя есть, да и другие не откажут. Ты ж не чужой нам!

— Это как сказать... Да и с самогоном ни разу не имел дела, будь он неладный,— сказал Маркин.

— Э-э-э, милок, это дело поправимо. Вон покличь Абукая, у него и аппарат имеется. От всей души тебе говорю: поможем! Давай, милок, жить мирно, как полагается добрым соседям. Без людей, в одиночку, не проживешь. Какая же это жизнь!

— Да я и не сторонюсь от людей. И зла вроде никому не делал.

При этих словах Маркина Куштаев съежился, глаз его сверкнул злобой, но Константин Павлович не видел этого и продолжал:

— И без помочи как-нибудь обойдусь. А ежели ты уж пообещал лошадку, что ж, подумаю. Только уж, Василь Силыч, будь хозяином слова.

— Что ты, что ты, милок! Кому-кому, а тебе завсегда помогу. И сейчас вот как видишь...

Через час-другой Митя завершил недопаханную полоску Маркиных и нижней стороной вывел лошадей на свой загон.

Константин Павлович взял лукошко и стал засевать вспаханное. Серега продолжал бороновать.

VII

Солнце стояло еще высоко, когда Маркины покончили с севом. Оставляя осьминник, Константин Павлович еще раз оглядел ладно вспаханное, засеянное и заборонованное поле и чуть заметно улыбнулся.

В добром расположении духа они поехали домой.

Но вскоре на лице Константина Павловича появилась прежняя озабоченность. Остаток дороги он думал об одном: как завершить сев и на других делянках, собрать ли в самом деле помочь или огоревать самому? Не очень-то он верил всем этим Куштаевым и Капитановым, но то, как нынешним днем с ним душевно разговаривал Василий Силыч, как бескорыстно помог ему, Маркину, допахав остаток клина, поколебало его настороженность. В тот же вечер Константин Павлович стал подумывать о том, как ему выгнать побольше самогону.

Когда совсем стемнело, принес потихоньку от одного знакомого самогонный аппарат, купил в лавке Солдатова дрожжей и сделал завар. Покончив с этим, вышел за ворота как раз в тот момент, когда Куштаевы возвращались с полей. На одной телеге были плуги-бороны, на другой, выше лошадей, аккуратно сложены свежесрубленные молодые дубки, кое-как замаскированные прошлогодними листьями вперемешку с зеленой травой.

«Вот тебе и сушняк, и гнилые пеньки! — подумал Маркин.— Недаром говорят: у богатого и быки телятся».

Наглая ложь Куштаева относительно сушняка и гнилых пеньков чуть не расстроила планы Маркина. Он уж подумывал о том, не отказаться ли ему от затеи с помочью, ходил в кузницу с поломанной палицей, но выяснилось, что еще во время половодья кузнец простудился, и его отвезли в больницу. Делать нечего — придется гнать самогон, не выливать же целую кадушку забродившей барды! «Ладно,— думал Константин Павлович,— Куштаевы-Капитановы не придут на помочь, так придут другие, не откажутся. Свет не без добрых людей». И через несколько дней в одной из клетушек на своем дворе

начал потихоньку гнать самогон. Приступил к такому деликатному дельцу днем, полагая, что так будет незаметнее: днем дым менее виден, взрослые люди в дневную пору почесть все на поле.

Однако все обернулось весьма худо. За приготовлениями Маркиных кто-то пристально и неотступно наблюдал и ждал только часа, когда над их подворьем взовьется синий дымок.

Через час в калитку Маркиных постучали. Константин Павлович сливал в это время первак. Он услышал стук, и руки его задрожали. Спрятал посудину и поспешил к калитке.

— Кто там? — спросил хозяин голосом, который и самому показался чужим.

— Открой, Палыч. Это — я, Кузя. Милиция то есть.

Милиционер как будто заранее знал о секретах Маркина — ни слова не говоря, не заглядывая ни в какие иные места, приподняв чуток нос, прямехонько двинулся к закутку, где находился самогонный аппарат. Там сидел Серега, подставив под краник кружку, в которую тоненькой ниточкой стекала мутноватая влага.

— Это что же такое, гражданин Маркин, а? — не повышая голоса и не оглядываясь на вошедшего вслед за ним хозяина, спросил Кузя.— Самогонку гонишь, Советскую власть под корень, так, что ли, а? Теперь понятно, почему ты отдал Камакшеву Петьке своего жеребца — замаскироваться хотел, в активисты затесался, чтобы потом творить вот такое! Знаем мы таких! Не проведешь!

— Ты вот что... ты Петра не трогай! И мой жеребец пускай не торчит костью в твоем горле. Скажи лучше, что тебе нужно от меня? — сердито спросил Маркин.

Теперь он был зол на всех. «Иуда! — думал о Куштаеве.— Он донес, больше некому. Выходит, зря его вытащил из воды, в самый бы ему раз на прокормку раков». Маркин был зол сейчас на самого себя. «Дурак же ты, дурак! Нашел, кого слушать, кому верить! Ведь это же Куштай!.. Так тебе и надо!» — отчитывал он самого себя.

Милиционер меж тем говорил:

— Мне, обчем, ничего от тебя не надо. Запрягай, обчем, свою армейскую клячу и отвези всю эту куфню в Совет. Покамест запрягаешь, я ахт на тебя составлю. Вон аккурат и понятой объявился.

От калитки вышагивал Куштаев. Мигнув бельмом, сказав всем «добрый день», он проскрипел:

— Гляжу этак: не к шабру ли моему завернул Кузярка? Может, Палыч в гости позвал такого важного человека аль он сам наведался по какому важному делу. Пойду, мол, и я, часом и мне чарка перепадет. А тут, оказывается, вон какими делами занимаются. Ай-ай-ай, шабер, нехорошо! Ей-богу, нехорошо! И неосторожно, скажу тебе. Потому-то Кузярка и подцепил тебя сразу на крючок. У него на такое нюх острый. Сидит на одном конце села, а чует, что делается на другом.

Константин Павлович даже не взглянул на своего «благодетеля». Быстро запряг лошадь и погрузил в телегу аппарат. Пронькаев Кузя закончил составление акта и отдал его на подпись понятому — Куштаеву. Но тот ни читать, ни писать не умел — потому поставил крестик на том месте, где указал милиционер. Потом Кузя протянул бумагу Маркину, но Константин Павлович не стал подписывать ее, сказав, что сделает это в сельсовете. Затем хозяин вытащил припрятанную было четверть с самогоном.

При виде зеленоватой жидкости бельмоватый глаз старого Куштаева так и запрыгал. А Пронькаев Кузя, потирая руки, не мог удержать глотательные движения. Они почему-то были убеждены, что Маркин их угостит, потому-то Куштаев и заторопился:

— Ну, вот это по-нашему! Ты уж, Кузярка, того... будь человеком. Не очень-то на шабра!.. Вот хлобыстнем по кружке — и делу конец: никто ничего не видал, не слыхал.

— Ирод! — только и сказал Константин Павлович, глянув на Куштаева через плечо и вытаскивая бумажную затычку из четверти. На глазах потрясенных милиционера и понятого хозяина вылил самогон на кучу навоза.

Опростав всю четверть, поехал в сельский Совет. Константин Павлович хотел добраться туда задами, но Кузя строго приказал ехать главной улицей, чтобы, значит, все видели, каков этот Маркин, которого, точно пойманного вора, ведет представитель власти через все село.

Константин Павлович не стал сопротивляться. Не боялся он мирского суда, поскольку ни у кого ничего не крал. Обидно ему было, что поверил такому человеку, как Куштаев, который вон уже стоит у своего дома и, ехидно посмеиваясь, показывает кому-то на удаляющуюся повозку Маркина.

VIII

На той же телеге ехал и Серега. Мальчишка видел, что эти люди глумятся над его отцом. «Ну, погодите, я вам покажу за папаньку! Вот только вырасту!» — он пылал гневом.

Но у Сереги была и другая забота: никак не мог он забыть про яйца, положенные в самогонный аппарат, чтобы они там сварились. Приноравливался незаметно вынуть их еще на своем месте, но боялся милиционера и Куштаева: отымут еще! Хотел вытащить по дороге, но рядом сидел Кузя. Теперь на сельсоветском дворе, кажется, приспел самый подходящий случай: рядом с Серегой никого не было. Озираясь, он проворно открыл крышку бака, вмиг извлек яйца, рассовал их по карманам и за пазуху и спрыгнул с телеги.

Кузя вошел в сельсовет позади Маркина, будто и вправду конвоировал большого государственного преступника. В кабинете сидел один председатель — Алексей Андреевич Зубков.

Алексей Андреевич объявился в селе в конце германской войны. В Красную Армию его не взяли: два пальца правой руки оттяпала у него немецкая разрывная пуля «дум-дум». В Сивеньки он пришел уже коммунистом, с собой прихватил винтовку, необходимый запас патронов к ней и полный мешок всякой литературы. Не мудрено, что именно он стал первым председателем сельского Совета.

С детских лет пас стада богатых людей, натерпелся от них издевательств и насмешек, жил впроголодь, ни в отрочестве, ни в юности не имел приличной обувчонки и одежонки, потом сразу фронт, война — не знай за чьи интересы,— постепенное прозрение и, наконец, вступление в партию большевиков — вот жизненный путь Алексея Зубкова.

В Сивеньках не очень-то удивились, увидев в руках Зубкова винтовку: не один он был сейчас при оружии. Но содержимое солдатского мешка привлекло всеобщее внимание. И не только привлекло, но очень скоро сделалось понятным. Зубкова слушали внимательно все — бедняки, середняки, кулаки. Только каждый на свой лад толковал рассказанное книгами, газетами и окопными листовками, в которых чаще всего поминалось имя Ленина.

Сельскую бедноту, словно магнитом, притягивало к

Алексею Андреевичу. Сперва втихую, а потом в открытую собирались у него, чтобы прознать последние новости, потолковать о том о сем, посоветоваться. И всякий раз — чтение тех книг и листовок, споры до хрипоты — до поздней ночи, до первой кочетиной побудки. Во время одной самой большой сходки Зубков был избран председателем первого в Сиваньках Совета.

— Товарищ председатель! — приложив руку к козырьку, докладывал милиционер.— Обчем, привел в Совет народной нашей власти одного контрика...

— Погоди, погоди, Кузьма Герасимович! Зачем же так грозно? Константина Павловича на селе знает каждый. А ты...

— Знать-то знают, да не про все. А он, обчем, под корень, можно сказать, рубит Советскую власть — самогонку гонит. Вот ахт! — торжественно заключил Кузя и протянул Зубкову листок бумаги.

— Оставь акт — прочитаю. А сейчас, Кузьма Герасимович, ты свободен.

Скорчив обиженную физиономию, Кузя вышел.

— Что случилось, Константин Павлович? Почему не появляешься в Совете? Прежде я часто тебя тут видел. С милиционером что, недоразумение какое? — озабоченно спрашивал Зубков.

— Без дела не люблю ходить. А вот теперь пришел. Лучше сказать: привели. И не зря привели, Андреич. Провинился я — гнал самогонку, вон и аппарат тебе доставили как вещественное, стало быть, доказательство. Суди меня по всем строгостям, но только знай: Советскую власть я не подрывал, а гнал эту проклятую по нужде...

— Погоди, погоди, Палыч, не торопись. Я ведь знаю, какой из тебя «самогонщик». Едва ли ты стал бы позорить свое доброе имя и Петра Камакшева. Значит, что-то понудило тебя. Вот и расскажи.

И Маркин рассказал все по порядку.

Зубков долго молчал. Затем положил руку ему на плечо:

— Эх, Константин Павлович! Мужик ты неглупый, а кому поверил? Разве ты не видишь, кто они, эти Куштаевы и Капитановы? Ведь они заманивали тебя в свои сети, чтобы отомстить и за Камакшева Петра, которого ты вырастил на их беду, и за то, что ты сам помогал ему отбирать у богатеев излишки. Запомни, Константин Пав-

лович: волк никогда не станет овцой. Протяни им руку — вмиг отгрызут.

— А что делать, Лексей Андреич? Куда пойдешь, у кого спросишь помощи? — Маркин прямо глядел в глаза Зубкову.

— Пора бы самому знать, куда идти и к кому обращаться. Вот что скажу тебе. Самогонный аппарат отберем — тут дело ясное. Палицу можно починить или добыть новую, хотя она все равно твою жизнь не улучшит. Но покамест и без нее в хозяйстве не обойдешься. Давай-ка, брат, вот что сделаем. У тебя есть лошадь, у меня — исправная соха. Объединимся и как-нибудь выберемся сообща из весны в лето. Согласен? И другим посоветуем поступить так же. Ведь найдутся такие на селе, как ты думаешь?

Константин Павлович кивнул головой.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

I

Весна в том году была буйной. Едва сошла вода в пойме Медведицы, травы на лугах вымахали по грудь человеку. Не успели оглянуться, как все окинулось цветами. И вот перед тобой — море этих цветов. Желтый, с пречисто-белым ободком глазок ромашки. Стебелек растения прям, высоко поднял свою головку и знать не знает, беззаботный, что скоро срежут его под корень. Желтый свой зрачок ромашка, видно, взяла в подарок от зари, а лепестки лучистые — от солнца яркого... По соседству — синий колокольчик. Словно в пригоршне, держит огненные язычки тычинок. Верхушки лепестков прогибаются, похожи на вышитые оборочки на рукавах девичьего платья. Кажется, сомкни эти синие, похожие на хрустальные вазочки колокольца, и они зазвенят. Чуть в сторонке — бабья кашка на коротеньких ножках. Кудлатая ее головка склонилась набок, будто думает о чем-то или прислушивается ко всему, что живет в лугах, радуется, смеется, поет.

Тут хороводятся воскресными днями сельские парни и девчата. Все они — в лучших своих нарядах.

Посреди луга — Алякин Ваня, в его руках — саратовская гармошка с колокольчиками. Ваня, хоть и женат, но его с радостью принимают ребята и девчата, поскольку без гармониста какое же веселье! Когда Ваня играет саратовский перебор, ноги сами просятся в круг. Сейчас Ваня играет «польку», а девушки, разделившись парами, танцуют. Неподалеку от круга бренчит балалайка. Под нее несколько парней распевают частушки. Другие, отделившись ото всех, парами разбрелись по лугу, у Ильмень-озера собирают букеты цветов.

Промеж круга волчком вертится Тюма Борякин. На нем новая белая рубаха, черные брюки, собранные в гармошку сапоги. Из-под кепки рассыпались кудри. За поясом — книга. Тюма то к одним подскочит, то к другим, вовлекая всех в очередную игру.

II

Да, весна в этом году выметнулась на славу. Однако, кроме молодежи, ее будто бы никто и не замечал. Слишком много было забот у людей, чтобы видеть ее буйное цветение, чувствовать хмельную силу ее чар. Селяне чего-то ждут с беспокойством. Одни с тревогою думают о том, окрепнет ли Советская власть или сдастся на милость царских генералов и разных контрреволюционеров, и на шею бедным опять наденут хомут. Вон сколько разной нечисти набросилось на нее отовсюду! И Ленина чуть не убили... Как же он теперь там, поправляется ли?.. Вспоминали и о своих односельчанах, ушедших с Петром Камакшевым на гражданскую войну: как они, живы-здоровы ли и скоро ли вернутся? Помогать им надо, изо всей мочи помогать!..

У других — другие думки. Эти, точно тараканы, попрятались в щелях и день-деньской молятся о том, чтобы вернулись прежние времена, чтобы поскорее пришли белые и покончили с большевиками вместе с их Советами. Кабы только молились — но они и действовали втихомолку, точили, как червь, устои новой власти. Во главе этих был эсер Гава Капитанов.

Его теперь редко видели в Сиваньках. Появится на день и опять пропадет. Сегодня вместе с утренней зарей снова ушел в сторону Медведицы, оставив на росистой траве темный след огромных сапожищ.

Выйдя к реке, Гава перебрался в узком месте на тот берег и прямо через ивняк направился в Вязановку. Тут он дождался поезда, вспрыгнул на ступеньку последнего вагона, и след его оборвался.

Спустя неделю вернулся на тот же полустанок и пошел знакомой дорогой. Полустанок был пустынен, никого из железнодорожников на нем не оказалось, и никто, стало быть, не видел, как из вагона спрыгнул Гава, а за ним какие-то люди, выгрузив что-то завернутое в мешковину и, судя по всему, очень тяжелое. Как только товарняк тронулся с места, люди эти торопливо и молча взвалили таинственный груз на плечи и направились с ним под гору, к Медведице.

В Вязановке, куда Гава пришел с полустанка, на крыльце одного дома его встретил длиннобородый старик. Он без слов пропустил Гаву в избу и захлопнул дверь.

— Орел, ей-богу, орел! — восхищенно шептал старик, точно вальком, ошлепывая гостя широченной ладонью.— Ну, как? Рассказывай.

Они вошли в горницу. Гава снял с головы кепку и смахнул со лба пот. К лысой его голове кое-где прилипли волосенки.

— Хорошо твоему сыну у Деникина,— загнусавил Гава, сердито глянув на старика.— Его никто не расспрашивает: как да что? Он сам штабс-капитан! А тут каждой бороде растолкуй, где и что.

Гава вдруг подскочил к старику, схватил за плечи и, сильно встряхнув, почти закричал:

— Не смей больше ни о чем расспрашивать меня, слышишь?! Спрашивать буду я! Лягушка не пристает к щуке с расспросами. Понял?

— Понял, понял, Гаврила Егорыч, как не понять! — испугался старик.— Я ведь так... Устал, поди? Давай, раздевайся, мы мигом отпугнем твою усталость,— и хозяин забегал вокруг стола.

Гава присел на скамейку и, расстегнув пиджак, сказал:

— Дела идут так, как нужно. Слушай хорошенько: если кто узнает о наших с тобой прежних разговорах, схвачу за эту вот бороду и посажу собственноручно на кол подыхать. Понял?

— Господь с тобой, Гаврила Егорыч! Как можно? Против тебя-то, заступника нашего? Это все равно что

против родного сына пойтить! — лепетал старик, но Гава его уже не слушал.

Старик присел. В избе наступила тишина. Гава, судя по всему, напряженно прислушивался, не подходят ли те, с ношей. Он ждал их, знал, что эти люди сделают то, что им приказано.

Дочь хозяина, Даша, начала накрывать на стол. Входя в горницу, она всякий раз бросала на гостя зовущий взгляд или незаметно старалась задеть локтем, когда находилась от него поблизости.

Когда на столе уже было всего вдоволь и оставалось только начать закусывать, кто-то осторожно постучал в окно, завешенное изнутри одеялом. Старик и Гава переглянулись. Стук повторился — на этот раз постучали дважды. Гава успокоился: то были его люди. Приказал старику:

— Иди открывай, не бойся.

В избу ввалилось десяток рослых, сильных мужиков. Пробираясь лугами и лесом, они вымокли в росе с ног до головы. Сняв картузы, топтались в горнице, не зная куда деть себя. Гава, хлопая по плечу то одного, то другого, спросил:

— Ну, как?

— Все в порядке, господин прапорщик!

— Молодцы! Орлы! Скоро придет время и вам расправить свои крылья. Чувствуете, что творится кругом? Попов со своими молодцами уже приближается к нашим краям. И мы тут не сидели сложа руки. К его приходу коечто успели сделать. Вот так-то, ребятушки!.. Ну, а теперь все — за стол! Живо!

Те расселись и смотрели на своего начальника не мигаючи, боясь пропустить хотя бы одно слово из того, что говорил он. Люди эти сделали все, как надо: принесенное оружие припрятано за Медведицей надежно. Было условлено, что, когда пробьет час — будь то ночью или днем,— всем бежать к потайному складу, хватать винтовки и направляться туда, куда повелит Гава. Пока же надо молчать и ждать.

Перед рассветом все разошлись. Гава покинул дом бородача последним, его провожала Даша. Вслед за ними вышел на крыльцо догадливый отец, потихоньку кашлянул. Гава и Даша сейчас же отошли друг от друга. Даша вернулась к отцу, а Гаву поглотил туман.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

I

Приближалось лето. Мужики вышли делить пойменные луга, что раскинулись по-над Медведицей. Собравшись в круг, бросали жребий. Первый пай достался, как нарочно, тщедушному мужичишке. Пай этот тянулся вдоль дороги, где трава изрядно потоптана, да и по всему наделу торчали кротовьи да муравьиные кучи. Высокие стебли трав испачканы дегтем, оброненным проезжающими телегами. Мужичонка сбил с затылка на лоб вылинявшую шапку и черными пальцами почесал затылок. Ему надбавили лишнюю сажень, но едва ли его это успокоило. Однако делать было нечего: жребий есть жребий!

С другого конца лугов к жеребьевщикам уже приближался прокосчик. Сделает два шага — тяпнет косой по траве, еще шагнет — опять тяпнет. Так он прокладывает межу. От круга, где бросают жребий, время от времени отделялся мужик и начинал отмахивать саженью. Он отмерял доставшийся ему по жребию пай: три сажени на едока. Так, один за другим, поднимались от круга мужики и направлялись к своей делянке, а за ними, кувыркаясь и подпрыгивая, с визгом и смехом поспевали мальчишки. Впереди себя взрослые их не пускали: нечего зря топтать траву!

Сереге не нравилось это: вперед не пускают, того и гляди — подзатыльник получишь! И он со своим дружком, Костей Ярыгиным, подался на Медведицу — там ты сам себе хозяин: хочешь — купайся, хочешь — таскай из-под берега раков, хочешь — лови вьюнов, их пропасть греется на солнышке в заводинах.

Солнышко стояло еще высоко, когда они, идя по пригорку, увидали сквозь листья талов будто бы полированную гладь реки. На ходу поскидали рубашки, штаны и помчались под гору, подбрасывая босыми ногами горячий песок. Перед ними, точно до краев наполненное большое блюдо, открылся омут. С шумом, хохоча и обрызгивая друг друга, влетели в воду.

Накупались досиня, а потом зашагали по мелководью вдоль берега к ручейкам, где из-под кручи можно было доставать руками раков. Над рекой свисают длинные сучья ветел, а ниже их — талов. Посреди реки виднеются

островками кулиги камыша, выставили, точно ждут от солнца подаяния, свои зеленые ладошки лилии, внутри которых уже светились нежно-белые лепесточки. Среди камышей и широких, тяжелых листьев кувшинки плещутся, играют рыбки, от них тонюсенькими, чуть заметными обручками разбегаются круги.

Серега встал на одно колено, наклонился у берега. Кто-кто, а он-то уж знает, где искать рачье жилье: чай, не первый раз тут промышляет! Левой рукой он ухватился за высокий репейник, а правою потянулся под берег. Не рассчитав, он теперь почти висел над водой. Нащупав рака, попытался было подняться, но не смог.

— Коська, помоги!

Костя не знал, как подступиться к товарищу.

Подбежав и схватив друга обеими руками за штанину, стал изо всех сил тащить на себя. Серега оторвался от кручи и плюхнулся в воду, оставив в руках Кости свои портки. Однако ему удалось благополучно выбраться на берег.

Серега держал в своих руках большого, похожего на варежку, рака.

— Попался, дружок! — прыгал с добычей Серега.— Стой, не балуй, не щелкай клешнями-то! Сперва покажи, что у тебя есть! — и Серега ловко выпрямил хвост рака. Под ним оказалась целая горсть бледно-розовой икры. Держа рака руками за клешни, он подцепил острыми зубами несколько икринок. Сладко! Вареная, икра эта очень вкусная, а сырая еще вкуснее!

— Оставь и мне маненько, ну, хоть одну икринку! — глотая слюну, просил Костя.

Сергей посмотрел на приятеля и протянул ему рака. Костя держал рака за панцирь и не знал, как подступиться к икре. Рак яростно захлопал хвостом. От неожиданности Костя взмахнул руками, рак упал в воду, только его и видали!

— И-иэ-эх, разиня! Меня не удержал, а теперь вот и рака! — ругал его Серега, натягивая свои портки.

— Да-а-а, он вон как хвостом-то своим!

Они опять пошли по берегу. У изгиба реки, из-под камыша, метнулась и, словно лопаткой по воде, шлепнула большая рыба, так что по реке побежала легкая зыбь. Ахнув, ребята даже остановились:

— Вот это да-а-а! Такую бы подцепить! — воскликнул Серега.

— А я ее видел: голова — во! Лоб — как у быка! — вдохновенно врал Костя. — Наверно, щука.

— Сам ты щука, только зубы у тебя тупые! — возразил решительно Серега.— В такое время лещи ды голавли шебутятся.— Серега замолчал и задумался. Решив что-то, он быстро повернулся к другу: — Знаешь что, Коська? Айда к дальним ручьям,— и, перейдя на шепот, доверительно сообщил: — Я там нерета видал. Это Микижка Тетерев их поставил. Все ручьи ими оседлал, жадный пес! На базаре свежей рыбой торгует. Теперь он с мужиками на дележке лугов, так что нерета никто не караулит. Пойдем, опрокинем одну — вот нам и рыба.

— Не знаю... Я боюсь,— чистосердечно признался Костя.

— Эх ты, а еще хвастался: я, я! А сам струсил! Айда, со мной нечего бояться! Вот увидишь, без рыбы не вернемся.

— Воровать, значит?

— Какое воровство? Взаймы возьмем. Потом наловим и отдадим.

Костя еще немного постоял в нерешительности, но соблазн подержать в руках большую рыбину был велик.

И вот мальчишки быстро идут по узкой тропке. Кругом ветлы, черемуха, стелются чуть ли не по земле кусты смородины... Внизу, под деревьями, царствуют крапива и горький лопух, вытянувшиеся выше мальчиков. Тропинка скользкая: тут она никогда не просыхает, сквозь листья деревьев и травы не пробиться солнцу.

Где-то гудит водяной бык, плачет, словно младенец, иволга, и свистят, и хохочут, и щелкают еще какие-то невидимые птицы, пугая Серегу и Костю; будто шилом, колются комары, огнем обжигают слепни, крапива вздымает волдыри на руках и босых ногах, но мальчики все идут. Серега — впереди, за ним в двух-трех шагах — Костя. Он, видать, боится, вздрагивает при каждом шорохе. И куда только ведет его Серега, поди, и сам не знает! Серега, похоже, догадывается о душевной маете товарища, потому часто оглядывается: идет ли за ним дружок? Рукою дает знать Косте, чтобы тот поторапливался, не отставал. Костя мог бы уж и зареветь, но изо всей мочи держится, да нету иного выхода, как продвигаться вперед: повернуть обратно боязно, а вдруг не отыщешь дороги, заплутаешься, а тут еще какая-нибудь зверюга выскочит из этих зарослей — что тогда?

Путь ребятишкам преградила большая бокалда[1]. Через нее были переброшены две жердочки. Серега и Костя быстро перебрались по ним на тот берег, и опять их обступило зеленое царство. Тучи слепней, мошкары и комаров накинулись на мальчишек. Те отчаянно отмахивались от них лопухами. И все-таки всей этой омерзительной своры не отпугнуть! У Сереги заныл лоб. Там уже давно угнездился большой болотный комар и насосался крови так, что светился, как спелая вишня. Серега шлепнул ладонью по лбу — брызнула кровь. Глянув на друга, Костя даже испугался:

— Ой, Сережка, у тебя все лицо в крови? Где это ты кувырнулся?

— Комар погостил на моем лице, — сказал Серега и, как ни в чем не бывало, продолжал идти.

Наконец Серега остановился и предостерегающе поднял руку. Остановился и Костя. Серега присел. Сделал то же самое и Костя. Обоих укрывали широченные листья лопуха.

Затаились они потому, что Серега уловил какой-то подозрительный шорох. Двумя руками раздвинув лопухи, глянул в узкий просвет. В саженях двадцати поверх лопухов маячили две головы. Теперь уж струсил и Серега, но не подал виду — боялся еще больше испугать Костю. А те, двое, над чем-то колдовали: то наклонятся, то выпрямятся. Серега решил: проверяют нерета. Он пальцем поманил Костю и показал на незнакомых людей.

— Опоздали мы с тобой,— зашептал Сергей. — Видишь, уже забирают рыбу.

— А я что говорил?! А все ты: без рыбы не вернемся!

— Ты посиди тут, но только помалкивай, а я поближе погляжу,— и Серега, словно ящерица, пополз под лопухами.

Костя, однако, не захотел оставаться один и пополз вслед за товарищем. Когда незнакомые люди стали хорошо видны, ребятишки затаились, начали наблюдать.

Ни Серега, ни Костя не видели этих людей в Сиведьках — выходит, пришлые.

«Вот разбойники, небось рыбу крадут»,— подумал Серега. Один из «чужаков» наклонился, и, когда выпрямился вновь, в его руках оказалась винтовка.

---

[1] Бокалда — протока, озерцо.



— Хорошенькие «игрушки» приготовил нам этот... как его?.. прапор,— заговорил незнакомец.— Не знаю только, против кого они?

— Довольно притворяться! Забыл, что говорил нам господин прапорщик?.. Атаман Попов идет к нам! — сердито ответил второй.

— А тебе известно, куда гнет этот Попов?

— Мне все известно. А вот ты, заячья твоя душа, во всем сомневаешься. Господин прапорик доверил нам большое дело. Мы дали клятву, как перед господом богом и царем. А ты что?.. Смотри у меня! Не то... Давай исполняй то, что приказано! Да поживей! — выхватив из кармана наган, приставил его к груди напарника.— Ежели еще пикнешь,— пригрозил он,— одной пули на тебя не пожалею. Понял? То-то. Ну, начали...

Глаза мальчиков расширились до предела — и от страха, и от великого любопытства. Затаившись еще более, они продолжали свое наблюдение, хотя обоим хотелось дать стрекача.

Взяв по пять-шесть винтовок, люди скрылись, но вскоре опять появились на том же месте. Так они уходили и приходили до тех пор, пока не перетаскали куда-то все винтовки и ящики с патронами. Покончив с этим, уселись покурить.

Серега шепнул Косте:

— Посиди тут, а я гляну, где они припрятали ружья. Только ты не ходи за мной — не то получишь вот чего! — и он показал другу кулак.

Незнакомцы продолжали курить и тихо переговариваться. Но, скованный страхом, Костя их не слышал и не видел. Правда, вскоре ему показалось, что кто-то из мужиков охнул. А еще через минуту послышался такой треск, будто бы кто-то волок по лесу вязанку сухого хвороста. Треск этот постепенно затихал, и до мальчика донесся всплеск воды. Затем опять наступила тишина, нарушаемая лишь мычанием водяного быка да кваканьем лягушек, уговаривавших кого-то: «Не ходи-ка ту-да, не ходи-ка ту-да». От страха, пронизавшего все его существо, Костя судорожно ухватился за комелек ветлы, зажмурил глаза и сидел ни жив ни мертв, пока не вернулся Серега.

При виде товарища, Костя немного преобразился:

— Слыхал я будто кто-то там охнул, и потом в воде бултыхнуло.

— Удрали, значит,— заключил Серега.

— Серега, жалят! — запищал Костя жалобно: ему очень хотелось поскорее уйти из этого проклятого места.

Но Серега сделал вид, что не понял:

— Кто жалит?

— Комары — вот кто! Тебя, нешто, они не кусают?

— Ну, ты, потише! — и, показав другу кулак — так просто, для порядку, Серега велел Косте следовать за собой. Серега хорошо приметил место, куда были перепрятаны винтовки.

Отойдя немного, мальчики выпрямились в полный рост и пустились во весь дух. Остановились передохнуть лишь тогда, когда выскочили на большую поляну, у широкого плеса на Медведице.

— Ну, и дела-а-а! — молвил совсем по-взрослому Серега, переводя дыхание.

— Они — кто, беглые? Да, Серега? — почесывая искусанные комарами и обстреканные крапивой ноги, спросил Костя.

— Может, и беглые. Только зачем двоим столько винтовок? Хватило бы им и двух,— размышлял Серега.

— Банда, поди.

— Да-а-а, дела-а-а,— опять задумчиво протянул Серега. Потом, будто встрепенувшись, быстро проговорил: — Знаешь что, Коська? Давай с тобой завтра до рассвету придем сюда, перепрячем у них винтовки в другое место, перекрадем, а потом будем бабахать из них по утрам. И по уткам можно в Ильмень-озере. И сороку, и коршуна можно подстрелить. А зимой — на зайцев. Может, даже волк подвернется али медведь. Лисица тоже не уйдет от нас! Знаешь, какую шапку из нее можно сшить?! С ума сойдешь! Теперь ты смикитил, почему никому не надо рассказывать об этих ружьях?

— Смикитил, что я, дурак, что ли?

— Значит, никому не расскажешь?

— Что ты! Никому ни словечка!

— Побожись!

— Вот те крест! Провалиться мне на этом месте! Пускай глаза мои лопнут, коли скажу!

— Этому я не верю. Много слышал, как люди божились, а потом все равно клятвы своей не сдерживали.

— А как же еще божиться?

— Ты кого больше всего любишь?

— Мамку.

— А еще кого?

— Не знаю. Тетку, наверно. Она иногда конфеты мне дает.

— А ты Ленина любишь?

— А кто он такой — Ленин?

— И-эх, ты, назола! Ленина не знает. А я вот знаю!

— Кто же он? Откудова ты его знаешь? — Костя с удивлением смотрел на Серегу.

— Знаю вот. Дядя Петя мне о нем рассказывал. Ленин на всей земле самый большой и самый умный человек — вот кто он такой, Ленин! И зовут его, знаю: Владимир, а по отчеству — Ильич. Фамилия его — Ульянов.

— А зачем же — Ленин? По-уличному, что ли, так его кличут?

— «По-уличному»! — рассердился Серега.— Это у нас на селе только прозвища людям дают. Ленина все любят, потому что он Ленин.

— Ну, да! Так я тебе и поверил! — возразил Костя.

— Эт почему же ты не веришь? — удивился Серега.

— Потому что... Потому что, ежели твой Ленин на земле самый большой человек, тогда он не Ленин, а инязор. А инязора я не люблю. Он папку моего на войне убил.

— «Инязор, инязор»... Сам ты безмозглый инязор! Послушай, что я тебе расскажу. Как раз Ленин-то со своими товарищами и дал по шапке всем инязорам да боярам. Он революцию сделал. И первым поднял красный флаг, какой у нас над сельсоветом. За это в Ленина стреляли, ранили его. Мне про то дядя Петя рассказывал. Он много про Ленина знает, про всю, как есть, его жизнь. Тогда я ничего не знал. А дядя Петя сказал: подрастешь, Серега, и все узнаешь. Вот я и подрос. Мне на прошлой неделе уже девять лет исполнилось.

— Серега, кусаются.

— Кто тебя все кусает?

— Комары. Айда домой, есть хочется.

— Домой так домой.

Мальчишки тронулись. Продвигаясь по наклону горы, они приглядывались к Ильменю, будто выслеживали бандитов. Но кругом было тихо.

— А дальше что? — после долгого молчания спросил Костя.

— А что?

— Как — что? С ружьями теперь — как?

— Ах, да. С ружьями? Вот что. Ты помнишь, как потихоньку потаскивал у мамки яйца?

— Ха! Подумаешь большое дело!

— Очень даже большое! Если кому-нибудь сболтнешь про ружья, я про те яйца все твоей матери расскажу. Спереж сам тебя отмолочу как следует, а потом она тебе даст порку. И тогда будет тебе «ха».

— Ты тоже воровал яйца. И я расскажу твоей матери, и тебе не миновать крапивы,— Костя рукавом рубахи провел по своему лицу.

Серега решил не продолжать этого спора. Велико было его желание, чтобы о тех ружьях никто не знал, а уверенности в том, что Костя способен хранить подобные тайны, не было. Теперь Серега уже жалел, что взял приятеля с собой. Лучше бы ему одному сходить к тем дальним ручьям на Ильмень-озере. Постреливал бы уток то из одного ружья, то из другого. А народ бы удивлялся: «Кто это там пуляет?» — «Наверное, командир какой!» — «А это не командир, не охотник, а я, Серега Маркин!» — от сладостной этой мечты Серега вздохнул.

А стрелять он умеет: научил все тот же дядя Петя — показал, как мушку наводить, как спускать курок. А этот назола Коська только портит все дело: то комары его кусают, то дрожит от крика иволги. А теперь, глядишь, еще и выдаст их тайну: пульнешь тогда в уток! Что же, в самом деле, делать с Коськой? Как заставить его, чтобы молчал про тот склад?

На всякий случай предложил:

— Знаешь что, Коська? Давай вместе побожимся, что о ружьях никому — ни-ни, а?

— Давай. А как? Я ведь не умею.

Серега одернул рубашку, пригладил волосы и сказал:

— Я буду божиться, а ты повторяй за мной. Ну, начали: «Если я кому-нибудь скажу...

— Если я кому-нибудь скажу...

— что в Ильмень-озере видел с ружьями беглых бандитов...

— что в Ильмень-озере видел с ружьями беглых бандитов...

— тогда скажу матери, что таскал из дома яйца...»

— Э-э, я так не буду! — запротестовал Костя.

— Почему не будешь?

— Она крапивой...

— Божись, что не скажешь, тогда и крапивы не будет.

Костя отвернулся и сказал меланхолически:

— Я уж забыл, что говорить.

— Скажи: «Тогда расскажу матери, что таскал из дома яйца».

Костя повторил без всякого энтузиазма, а Серега продолжал:

— «Если скажу, что беглые бандиты...»

Костя в полном недоумении посмотрел на друга:

— Мы божились ведь. Зачем же еще?

— Божись, тебе говорят! — прикрикнул на него Серега.— Мы еще не закончили. Давай: «Если сбрехну, тогда беглые бандиты пускай убьют мамку и тетю, какая давала мне конфеты.

—...Пускай убьют мамку и тетю, какая давала мне конфеты...— еле слышно повторил Костя и вдруг разревелся.

— Ну, распустил нюни! Не реви, клятва кончилась. Но ежели нарушишь ее, заплачешь еще не так!

— Да что ты пристал ко мне! — разозлился Костя.— Сказал, буду молчать — значит, буду. Вот и все! Ты думаешь, мне пострелять неохота?!

Домой возвращались прежней дорогой. После всего, что случилось с ними, Костя смотрел на Серегу почти как на взрослого. «Откудова только он набрался таких слов? — думал он о Серегиной клятве.— Наверное, от дяди Пети».

Когда дошли до поймы, не узнали своих лугов. Вся трава была уже скошена, и ровные ряды сена казались зелеными полотнищами. Только далеко в стороне некоторые паи оставались нескошенными. Теперь они походили на длинные столы, покрытые зелеными скатертями, а поваленные ряды возле них — на такие же длинне низкие скамейки возле столов. Только там еще и видны были редкие косари, только оттуда доносился до ребят звон кос о бруски и смолянки.

Солнце уже садилось, когда Серега и Костя вошли в село. Тут они тихо разошлись по домам, каждый по-своему думая о таком большом для них и значительном деле.

II

Когда Серега вошел в избу, мать и отец сидели за столом. Они ужинали. Константин Павлович, видимо, только что пришел с лугов, покончив со своим паем. Как был на пойме во время косьбы с засученными рукавами, таким оставался и сейчас, неспешно хлебал постные щи. Настроение Константина Павловича было хорошим: девять саженей досталось ему по жребию, шуточное ли дело! Не то что до революции. Да и пай попался на славу: густое, ровное разнотравье. Он, очевидно, об этом только что толковал с женой, потому что и на ее лице таилась робкая улыбка. Когда на пороге объявился сын, она спросила с незлобивым укором:

— Где это тебя целый день окаянные носили? Садись ужинать.

— Купались в Медведице. А какую рыбину видели — во! Ка-ак сиганет! — Серега широко развел руки, чтобы отец и мать имели представление, что же это за рыбина.— И еще двоих...— тут Серега осекся.

— Что — «двоих»? — насторожился отец.

— Ничего. Это я так...

После ужина Серега вышел в сени и прилег на сундуке. Сейчас же принялся размышлять: «Как же теперь взять ружья и унести из того леса в другое место? И с кем? С Коськой? С ним одна морока. Начнет опять хныкать. Беду с ним только накликаешь. Горе одно, а не мужик. Одному? Страшновато. Может, рассказать о ружьях кому-нибудь из взрослых, а? Но тогда ни винтовок, ни уток не видать. Как же быть? Надо все-таки рассказать...

Сорвавшись с сундука, мальчик вбежал в избу, схватил отца за руки, увлек за собой в сени и, усадив рядом с собой, начал рассказывать:

— Папка! Я давеча стал было про тех двоих... Ты не ругайся, что не рассказал тогда... Ты только хорошенько слушай. В нашем Ильмене прячут свои ружья беглые бандиты. Я сам их своими глазами видел, ей-богу! Ежли не веришь, спроси Коську Ярыгина. Мы вместе там были. Хотели из нерет Микижки Тетерева рыбу вытряхнуть, а нарвались на бандитов. Они-то нас не видели, а мы видели, как они таскали ружья. Мы с Коськой в лопухах да крапиве спрятались, руки и ноги обожгли — теперь все в волдырях. Во, глянь! Да и комары знаешь как жалили!

А мы все терпели — голоса не подали. Я потом сбегал и поглядел, куда бандиты таскают ружья и какие-то ящики в рогоже... Знаешь, папка! Я сразу почуял, что это нехорошие люди. Если бы они были хорошие, зачем им прятаться у Ильмень-озера? Правда, папка?.. Мы с Коськой поклялись никому не рассказывать про это, хотели сами перепрятать винтовки, чтобы потом уток из них убивать! А зачем нам столько ружей? Ведь их там целый склад! Нам бы только парочку, чтобы, значит, когда испортится одно, стрелять из другого. А с остальными ты, папка, делай, что хочешь. Ты большой и знаешь, что делать с теми винтовками и бандитами,— заключил свой долгий и торопливый рассказ Серега.

Отец, не перебивая, внимательно слушал его. И когда Серега закончил свое повествование, Константин Павлович положил большую, жесткую руку на его лоб. С беспокойством сказал:

— А ты, брат, перекупался, не заболел ли?

— «Заболел»! Скажешь еще! Ты завроде не веришь мне. Я вот пойду позову Коську, тогда небось поверишь.

— Верю, Серега. Ты никогда не врал. А новость сообщил очень даже важную. Спасибо тебе.

— Пап, ты только никому не рассказывай. Мы с тобой вдвоем пойдем на Ильмень, я хорошо приметил то место, куда беглые запрятали свои ружья. Заберем их, а потом постреляем.

В это-то время и заявился Костя — пришел он как раз для того, чтобы договориться с Серегой: куда они будут завтра перепрятывать ружья. Увидев рядом с товарищем его отца, сейчас же все понял и чуть не заплакал от обиды и досады. Приблизившись к Сереге, заговорил с упреком:

— Ты так, да? Забыл клятву, а? Теперь чью же тетку и мамку убьют бандиты? Эх ты, а еще меня учил!.. Коль так, пойду и я расскажу всем о ружьях и яйцах, которые ты таскал втихаря от своей мамки. Ты думаешь, только тебе хочется рассказывать? — совершенно резонно спросил вдруг Костя и с тем выскочил на улицу.

Однако Константин Павлович догнал его и привел опять в сени. Он долго втолковывал ребятишкам, что, если они расскажут про свою тайну кому не следует, случится большая беда.

— А уток из таких ружей не стреляют. Это же боевые винтовки, с ними не шутят. На уток ходят с дробовиком.

Разве вы этого не знаете? — сказал под конец Константин Павлович.— А то, что вы рассказали обо всем мне,— это хорошо. За это вам спасибо.

Ребята, казалось, успокоились. Константин Павлович попросил их, чтобы до его возвращения никуда не уходили, сам вышел из дома.

Солнце уже село. Стало быстро темнеть. Улица угомонилась.

Через полчаса пришел Константин Павлович, да не один, а с председателем Алексеем Андреевичем Зубковым.

Костя не на шутку перетрусил, увидя такого большого начальника, мальчишке показалось, что Зубков пришел за ним. Но, когда Алексей Андреевич погладил его по голове, Костя радостно перевел дух.

Долго говорили два больших и два маленьких мужика. Теперь рассказывал Костя, не давая Сереге вставить словцо.

«Дело понятное,— решили взрослые.— Назревает какая-то заваруха. Неспроста повсюду идут слухи о Попове. И сюда, видно, тропит он кровавый свой след. Надо срочно захватить склад, иначе нам несдобровать».

Маркин-старший и Зубков попросили Костю, чтобы он сбегал домой и сказал матери, что будет ночевать у Сереги.

Мальчик скоро вернулся и с радостью сообщил, что мать разрешила ему остаться у друга. Они расстелили постель прямо на сундуке и, обнявшись по-братски, быстро заснули.

III

Едва порозовел восток, Константин Павлович запряг лошадь, до этого тщательно смазав колеса. С Алексеем Андреевичем они разбудили ребят и через сонное село тронулись к Медведице. По селу ехали шагом, а за околицей пустились рысью. Лошадь без особого понуканья неслась во весь дух, будто и она знала, что надобно торопиться.

Там, где дорога кончалась, они привязали гнедуху к стволу дерева, сами пошли пешком.

Шли, низко пригнувшись, обороняясь руками от ветвей, норовивших стегнуть по лицу,— так и вышли к куче

винтовок, припорошенных свежей травой. Не теряя ни минуты, разгребли траву, набрали по охапке винтовок и направились к телеге. Серега и Костя шли впереди. Вдвоем они несли коробку с патронами.

Оставив ребятишек возле лошади, взрослые опять пошли к складу. Так они сделали несколько рейсов, пока все оружие не оказалось в телеге. Константин Павлович тут же, у стоянки, накосил травы — с косой он в летнюю пору не расставался — и наложил ее выше наклесок, так что все оружие было хорошо укрыто. Затем о чем-то поговорил с Зубковым и домой поехал окольными путями. Ребят Зубков прихватил с собой — быстро вывел их едва приметной тропкой прямо к лугам, подступавшим к самому селу.

Перед Сивеньками разделил ребят, одного направил — в один, другого — в другой конец села, сказал, как надо отвечать встречным, коли поинтересуются, куда мальчишки ходили в такую рань. И клятва ваша, сказал он, теперь в самый раз: никому ни одного слова об оружии, иначе все пропадет. Сам Алексей Андреевич возвращался домой через свой огород, неся на плече мотыгу, прихваченную у крайних капустных грядок.

При подходе к дому увидел Солдатова Проню, который у своей избы готовил телегу.

— Откель это ты, Андреич, так раненько? — спросил он.

— Капуста затравенела, обмотыжил малость. Днем-то некогда, других дел невпроворот. А ты, видать, куда-то собираешься?

— И не калякай, Андреич! Ни дня ни ночи не знаешь спокою,— уклончиво ответил Солдатов и опять наклонился над осью, которую густо смазывал, сам подумал: «Вот привезем энти игрушки, будешь знать спокою».

Перед тем как войти в свой дом, Зубков глянул вдоль порядка, облегченно вздохнул, увидав, как Константин Павлович въехал в свой двор.

IV

Во второй день сенокоса луга превратились в настоящую ярмарку. Сюда вышло все село: кто ворошит, кто сгребает ряды сена, кто нагружает в рыдванку, а наиболее проворные — везут уже на гумно. Только что-то ни

Куштая, ни Солдатова, ни Тетерева не видно. Лишь церковный староста Капитанов со своей приживалкой Оксей укладывал в копны сухое сено. Впрочем, сам-то староста не столько работал, сколько озирался по сторонам — кого-то все высматривал,— поджидал, видать, кого-то. Молодой и сильной Оксе приходилось орудовать за двоих.

Зубков возвращался с возом сена в Сивеньки, когда на полпути к селу ему встретился верховой. Осадив скакуна, тот спросил:

— Не скажешь, товарищ, где можно найти председателя вашего Совета товарища Зубкова?

— Что случилось? Зачем он вам понадобился? Я — Зубков и есть,— крикнул с воза Алексей Андреевич.

— Из Савкина я. Вестовой. Приказывай всем коммунистам и активистам, чтобы поскорее скрывались. К вашим Сивенькам приближается банда Попова. Понял? Живей! Мне надо торопиться!

Зубков хотел еще о чем-то спросить, но тот не стал слушать, крикнул только, пришпорив коня:

— Неколи мне, товарищ! В других селах нужно предупредить!

Всадник ускакал.

Алексей Андреевич был в нерешительности: оставить ли лошадь и вернуться на луга, или, как можно быстрее, ехать до дома. Решил все-таки, что лучше скорее ехать в Сивеньки, и в ярости хлестнул мерина. Возле огородов навстречу ему выбежал, размахивая руками, делая знак остановиться, перепуганный Серега. Подпрыгнув, он схватил лошадь под уздцы:

— Дядь... дядь Лексей! Скорее... скорее гони!

— Что случилось, Серега?

— Дядь Лексей!.. В село скачут какие-то верховые. Говорят, они уже в Ножкине, сказывают, что порубили несколько человек...

— Кто тебе сказал про то?

— У сельсовета слышал. Туда дяденька какой-то приезжал верхом на коне.

Зубков был рад, что встретил именно Серегу: мальчишку можно отправить с возом на гумны, а самому вернуться на луга.

— Молодец, Сергей! А ну-ка, на мое место. Полезай живо. Вот тебе вожжи, вези сено к себе. Мы вместе с

твоим отцом убираем. Этот воз ваш,— и Алексей Андреевич побежал в сторону лугов.

На исходе дня в село действительно ворвался небольшой отряд банды Попова, кто-то уже успел сообщить бандитам, что все взрослое население сейчас на лугах, коммунисты — тоже.

Вскоре, вздымая пыль, к лугам мчались всадники.

Люди, работающие в пойме, побежали врассыпную.

Зубков, Маркин и еще несколько человек были уже на Ильмене.

Ночью, перед тем как отвезти оружие в село, Константин Павлович несколько винтовок припрятал тут — так приказал Зубков. «На всякий случай. Может, пригодятся»,— сказал тогда Алексей Андреевич.

И вот теперь, захватив эти винтовки, они вместе с верными им людьми краем Ильменя вышли на опушку небольшого лесочка Колка и тут, у большака, стали ожидать бандитов. В само село входить не решались: не знали, каковы силы банды, ворвавшейся в Сивеньки. К тому же из села вела лишь одна эта дорога — так что встречи с непрошеными гостями все равно не миновать...

V

Серега во весь дух гнал лошадь с возом по селу, торопился скорее добраться до дома. Не успел доехать до ворот, как прибежал Костя. Дрожа всем телом, едва выговаривал:

— Серега, что же это?.. А?!! Бандиты нагрянули!.. Что же теперь?

— Коська! — закричал Серега, по привычке показывая кулак.— Ежели будешь хныкать, смотри у меня! Делай, что прикажу!

Вдвоем они свалили через наклеску, прямо тут, у ворот, сено, быстро распрягли лошадь и, поставив ее в конюшню, заскочили в избу. Она была пуста. Хотели, было, тут спрятаться от бандитов, но Серега вспомнил о винтовках и испугался еще больше: «Где же эти ружья? Ведь папанька привез их домой!»

Серега выбежал во двор, а за ним и Костя. Они обшарили все углы, все клетушки, но винтовок не нашли. Тогда Серега вспомнил про сеновал — там-то и обнару-

жил поблескивающее от масла оружие. «Отцу, видно, неколи было спрятать винтовни как следует»,— подумал мальчишка, и ему вроде кто-то подсказывал, торопил: «Перепрячь, перепрячь в другое место!»

«Что же все-таки делать? — размышлял Серега. — Оставить здесь — бандиты вмиг отыщут. Перепрячу — папанька не найдет. А вдруг винтовки им понадобятся с дядей Лексеем?.. Ага! Придумал! Я все время буду дома и, коли что, скажу папаньке, где спрятал».

Костя между тем стоял на нижней ступеньке лестницы и не спускал с товарища глаз — ждал приказаний. Наконец терпение оставило Костю и, приподнявшись выше, он дернул друга за штанину.

«А что, если в печку перетаскать?» — мелькнуло вдруг в голове Сергея. Он был хитрый. Где бы ни спрятала от него мать сахару ли кусок, пряник ли, яйца — непременно найдет. Вот только в печку не совал он своего носа, потому как там полагается быть только горшкам да чугунам со щами, с кашей.

Серега стал быстро спускаться вниз, перебирая шустрыми ногами ступеньки лестницы, при этом чуть не наступил Косте на голову. Вбежав в избу, в одну минуту повытаскивал из печки мамкины чугунки и горшки, рассовал их под лавкой. После этого принялся с Костей стаскивать с сеновала оружие. Печь была длинной, и винтовки хорошо поместились в ней. Ящики с патронами они затолкали в самую глубь, а винтовки уложили поближе к краю. А те, что не уместились в печке, побросали на поветь и накрыли сеном.

Покончив с этим, Серега плотнее прикрыл печь заслонкой и опять задумался: «Нет, это не дело. Бандиту ничего не стоит откинуть заслонку и заглянуть в печь». Они натаскали в избу сырых ольховых дров и сложили их на шестке.

— Если бандиты придут сюда, мы будто топим печку,— сказал Серега.

Он успел лишь это сказать, как от лугов в село с гиком и свистом ворвались бандиты. Серега бросился к окну.

— Вай, Коська!.. Скачут!.. Вот они!

Но всадников уже не было видно.

Серега лихорадочно искал спички.

VI

Ни коммунистов, ни активистов на лугах не оказалось, хотя Гава сообщил, что все они там. Сам Гава с предводителем отряда Батыгой сидел за столом в доме своего отца. Тут же он поведал этому пьяненькому предводителю о том, что кто-то выкрал приготовленные им винтовки и патроны. Подозрения его, конечно, в первую очередь пали на Зубкова и Маркина.

— Больше некому. Вот только не знаю, как они нашли этот склад? Ведь никто, кроме моих людей, не знал о винтовках,— гнусавя больше обыкновенного, повествовал Гава.

— Вот эти самые «твои» и продали склад.

— Этого не может быть,— решительно возразил Гава.— Правда, среди нас оказался было один сомневающийся, так сразу же лапки кверху. Окунули его в Медведице...

— Значит, плохой ты конспиратор, господин прапорщик, если какие-то мужики так провели тебя, из-под носа утащили. Ну, ничего, я найду похитителей. У меня они развяжут языки — признаются. Скажи только, прапорщик, готовы ли твои люди стать под ружье? — говорил Батыга, наполняя спиртом стаканы.

— Люди готовы. Сидят на Ильмене и ждут только сигнала.

— Сколько их?

— Пятьдесят человек. Это только из трех сел. Если тут одержим победу, подымутся и в остальных.

Батыга приказал привести к нему Зубкова и Маркина. Но приказ его не был исполнен. Бандиты рыскали по всем лугам, угрожали работающим на сенокосе мужикам расстрелом, если они не выдадут Зубкова и Маркина, но все, как один, клялись-божились, что не видали их. Отхлестав мужиков плетьми, бандиты вернулись в село, полагая, что эти двое укрылись тут.

Первым делом ворвались в сельсовет. Перевернули там все вверх дном, затем поскакали к дому Зубкова, вломились в дом, все обыскали и галопом поскакали к подворью Маркина.

К этому моменту Серега успел спрятать портрет Ленина и теперь разжигал перед печным зевом сырые дрова.

Бандиты ввалились в избу, когда вся она заполнилась

густым и ядовитым дымом, а Серега с Костей терли кулаками слезящиеся глаза... Перед этим бандиты успели обшарить весь двор, обнаружили в конюшне лошадь.

— Хороша коняга. Пригодится,— сказал старший и закричал кому-то: — Эй, Крысин, выводи этого рысака. Возьмем с собой!

Побывали они и на сеновале, перерыли все на подволоке, заглянули и в погреб, но винтовок не нашли.

— А что вы тут делаете, чертовы дети? — входя в избу, заорал старший, держа все время наготове наган.— Где отец? Ну! Что молчите? Может, пулей угостить?

У Сереги задрожали поджилки.

— М... мы...— заикался он. За его спиной трясся, ни жив ни мертв, Костя.— У... у нас завтра... поминки. Вот... печку затопили,— сквозь слезы соврал все-таки Серега.

— Я спрашиваю: где отец?

— Пап... папка на Грачу уехал... самогонку гнать,— отчаянно врал Серега.

— Врешь, собачий сын! Обыскать избу! — закричал старший, и его «молодцы» кинулись по углам.

Бандиты шарили уже в передней, когда их начальник подошел, отмахиваясь от дыма — к печке.

— Ну-ка, что тут у вас?

Остановился перед самым шестком и начал закручивать цигарку, не спуская глаз с чадящих дров. Затем выхватил одну головешку и стал от нее прикуривать. Серега метнулся к окну и закричал что было силы.

Вслед кинулся к окну бандит и замер: на улице, прямо перед окном, гарцевал на взмыленном коне всадник. Размахивая нагайкой, он что-то кричал, потом дал лошади шпоры и галопом помчался по селу. Бандиты выскочили из дома, а за ними Серега с Костей. Завидя лошадь дяди Алексея, привязанную к седлу одного бандита, Серега бросился к ней и вцепился в гриву.

— Не ваша, не ваша лошадь! — кричал он.— Зачем взяли? Не отдам!

Сидевший уже в седле здоровенный детина стеганул нагайкой Серегу по лицу. Мальчик упал под ноги лошади. Старший гикнул, скомандовал что-то, дернул поводья, и отряд со свистом и улюлюканьем понесся вдоль улицы, оставляя позади клубы пыли.

Подымаясь, Серега руками прикрывал лицо. Сквозь пальцы проступала кровь. Глотая слезы, он приказывал другу:

— Коська, беги в избу, облей водой дрова, а то сгорят винтовки!..

Костя вскочил в избу, подхватил с лавки ведро с водой и опрокинул его на дрова, которые к тому времени разгорелись и потрескивали вовсю. Изба еще больше наполнилась дымом и паром. Зажмурившись и зажав нос, Костя ощупью отыскал дверь и выскочил во двор, не прикрыв за собой двери.

Когда улицей неслись бандиты, из дома Куштаева выбежал с ружьем старший сын старика, Антон. Он хотел присоединиться к ним, но бандиты решили, что за отрядом гонится кто-то из коммунистов. Задний всадник обернулся, вскинул винтовку и выстрелил. Антон был сражен наповал.

Беспорядочно стреляя, бандиты покинули Сивеньки и двинулись в сторону Кедровска, чтобы соединиться с основными силами своего отряда на большаке, проходящем мимо лесочка Колка. Они торопились, поскольку прискакавший в Сивеньки вестовой сообщил, что их преследуют части Красной Армии.

За отходящим отрядом гнался один-единственный всадник. Он был без картуза. Белая рубашка вздувалась от встречного ветра. На него-то в первую очередь и обратили внимание Зубков и его товарищи.

— Своего не дождались. Вишь, как нарезает, сердешный! — тихо проговорил Маркин.

— До него ли им теперь! — ответил Зубков.— У этих зверей и закон звериный: прежде всего спасай свою шкуру. А до остальных им дела нет.

Когда отряд доскакал до Колка, раздался первый винтовочный залп. Всадник к этому времени уже настиг уходящий отряд и теперь растерялся от этих выстрелов: ни он, ни бандиты не ожидали тут засады.

«Что делать? — лихорадочно размышлял он.— Погибать теперь вместе с этими?.. Э-э, да пошли-ка они!..» — выхватив наган, выстрелил в бандитов. Двоих он свалил первыми же пулями, но и сам упал с лошади.

Стрельба утихла так же скоро, как скоро началась.

Возле леска неприкаянно бродило несколько лошадей, оставшихся без всадников, те остались лежать на пыльной дороге.

Зубков и его товарищи видели, как тот, что в белой рубахе, стрелял в бандитов, как сразил двоих и затем упал сам.



— Выходит, мы ошиблись. Значит, кто-нибудь из наших ребят,— проговорил Алексей Андреевич сконфуженно.

— Выходит так,— согласились остальные.

— Нужно разыскать его. Может быть, только ранен — помощь окажем,— говорил Зубков, выводя свой отряд из леса.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

I

Алексей Андреевич очень удивился, когда среди других лошадей увидел и свою. Седла на ней не было. Лошадь ходила, все время наступая на поводья узды. «Значит, бандиты успели наведаться и на мой двор, и на двор Маркиных. Надо немедленно скакать в село: наверное, натворили там дел эти сволочи!»

Направляясь к своей лошади, забредшей на чей-то овес, Алексей Андреевич увидел лоскуток белой материи, повисший на стебельке. До него донеслись стоны. Велико было удивление Зубкова, когда, приблизясь, он увидел Капитанова Гаву. Завидя Зубкова, Гава застонал, всем своим видом показывая, что без посторонней помощи встать не может. Правая его нога была забинтована ниже колена, из раны сквозь белую повязку (ее, видать, Гава сделал из своей рубахи) проступала кровь.

— Гаврила Егорыч! Никак, ты? — спросил Зубков.

— Действительно, я. Ты что же, товарищ Зубков, глазам своим не веришь?

— Скажу честно: в иных случаях и глазам своим впору не верить,— признался Алексей Андреевич и замахал рукой мужикам, которые ловили осиротевших лошадей.— Эй, ребята! Айда ко мне! — и опять — к Гаве: — Не ожидал такой встречи, ей-богу!

— Здесь, Андреич, ничего неожиданного нет. В село ворвались бандиты. Что я должен в таком разе делать? Мне что — Советская власть чужая? Я еще в Сивеньках хотел с ними сразиться,— врал напропалую Гава,— да с такой силой разве справишься?.. И оружие у меня послабее ихнего. Только вот... наганишка. А когда дознал-

ся, что вы тут засаду устроили, поджидаете их,— решился на погоню. Помогу, мол. И вот видишь, поранили, сволочи. Ну, да и я их пощупал как следует: двоих отправил на тот свет...

Гаве помогли встать на ноги и, поддерживая, повели к дороге. Тут он увидел валявшихся в пыли бандитов, один из них был еще живой и чуть слышно стонал. Гава выхватил наган и выпустил несколько пуль в неподвижное тело.

— Что ты наделал, Гаврила Егорыч! — воскликнул Зубков.— Он еще живой был. Может, вылечили бы, спасли человека...

— Собаке — собачья смерть! — злобно перебил Гава.— Всеми печенками и селезенками ненавижу их, мерзавцев, пострелял бы всех до единого. И рука бы не дрогнула!

Зубков ничего не сказал на это. К Гаве подвели его лошадь и помогли сесть в седло.

— Один доедешь? — осведомился Зубков.— Провожатого не выделить?

— Доберусь как-нибудь. Спасибо, никого мне не нужно... Впрочем, есть у меня к тебе, Алексей Андреевич, небольшая просьбица. Справочку бы мне такую, из которой видно было бы, что вместе громили бандитов. В лазарете, верно, потребуют. Сам знаешь, все лазареты сейчас переполнены, без справки могут и не принять...

— Ты вот что, Егорыч,— перебил его Зубков,— поскорее езжай домой, а то эта рана всю твою кровь высосет. А за справкой дело не станет.

Гава удовлетворенно кивнул и дернул поводья.

Зубков поймал свою лошадь, его товарищи — остальных. Убитых поповцев перетащили в одно место, забрали их винтовки, сабли, наганы и тронулись в село. Возле убитых оставили двоих односельчан.

Уже на краю села услышали душераздирающие вопли и причитания женщин. Возле высокого дома Куштаева толпа баб оплакивала кого-то. Алексей Андреевич резко осадил лошадь и спрыгнул на землю. Среди людей не было самого Куштаева. Пробравшись сквозь толпу, председатель оказался в центре круга, где лежал на придорожной траве старший сын Куштаева — Антон. Возле убитого — обрез.

Зубков поднял голову и прислушался. От подворья Маркиных тоже доносился плач.

Алексей Андреевич поднял обрез и вышел из толпы женщин. Вскочив на лошадь, помчался к Маркиным.

Притулившись на куче хвороста, безутешно плакал Костя. Он себя чувствовал так, будто бы больше всех был виновен в несчастье.

Константин Павлович поднял Серегу на руки и направился с ним в избу. Рядом, плача, шла Прасковья Карповна.

— Это кто ж его так? — спросил председатель, показывая на Серегу, лицо и вся голова которого были в крови.

Костя тоже вбежал в избу и встал у кровати, куда отец положил Серегу. Прасковья Карповна стояла и плакала.

— Кто же его так? — спросил Алексей Андреевич Костю.— Не знаешь?

— Почему не знаю? Знаю! — живо заговорил Костя.— Мы с Серегой были тут одни, а бандиты искали ружья. Потом, дядь Лексей, взяли вашу лошадь, а Серега ухватился за гриву и не дает. А один бандит кыи-ик даст плеткой Сереге по лицу, он тут же и упал, а кровь кы-ык хлынет! — и Костя опять заплакал.

— Подлецы, с детьми уже начали воевать! — сказал Алексей Андреевич, решая про себя, как помочь мальчику: во всей округе лишь в Кедровске есть врачи.

И тут Зубков вспомнил, что в Сиваньках есть врач, правда, ветеринарный.

— Сейчас же позовите Маркитана! — приказал кому-то Зубков.

Маркитаном его прозвали потому, что он без конца менял лошадей — больше, впрочем, чужих, чем своих. Сам почти всегда был безлошадным. Собственное имя его как-то забылось, и теперь его звали не иначе как Маркитан. Не успеет человек огоревать лошаденку, смотришь, уже продал или поменял, а потом, глядь, и вовсе остался без коняки. Не тем ли привлекали его такие операции, что при них был магарыч и, стало быть, можно было всякий раз напиться на законном, так сказать, основании?..

Маркитан оказался дома и, к счастью, трезвый. Осматривая Серегу, он покачивал головой:

— Ай-ай-ай, едят те мухи! Скажи на милость, так измордовать, покалечить ребенка, а? То есть не люди, а звери! — бушевал лошадиный доктор, а сам что-то искал

в сумке, которую он смастерил из брезента, чтобы носить в ней лекарства и инструмент. Она давно из белой сделалась темной с разноцветными пятнами.

По требованию Маркитана, принесли кипяченой воды. Ветеринар бросил в нее крупицу марганцовки и тщательно размешал воду лучинкой. Вода порозовела. Маркитан обмакнул лоскуток белого холста и принялся обтирать лицо пострадавшего. Спекшаяся кровь постепенно смылась, но через всю правую щеку остался от плетки большой шрам, по краям которого сочилась сукровица. Лекарь каким-то белым порошком присыпал рану, повязал щеку, а заодно и всю Серегину голову полотенцем. Мальчик застонал.

— Потерпи, сынок. Сперва, то есть, конечно, немного пощиплет. Пощиплет и перестанет, едят те мухи,— сказал Маркитан и повернулся к Константину Павловичу.— Ну, вот что, сват,— он почему-то всех мужиков на селе называл сватами.— Пускай сынок твой, значит, немного отдохнет. Полежит день-другой и выздоровеет. У меня рука легкая. Не таких жеребчиков... тьфу ты! — не таких говорю, боровчиков излечивал! — похвастался Маркитан, потирая руки.

— Ты что плетешь? — остановил его Зубков.

— Погодь, погодь, Лексей Андреич! То есть, рецепт мой самый что ни на есть верный. Правду говорю, сват, хоть жеребца, хоть борова — вмиг вылечу. А мальчишку и подавно, ему толечко дозу надо поменьше. Не впервой, едят те мухи, знаю, что делаю.

— Ну, хорошо,— примирительно сказал Зубков,— лечи!

Все, кто был в избе Маркиных, вышли на улицу вслед за председателем. Только отец и мать остались возле сына.

— Вот что, товарищи,— сказал вдруг Зубков вышедшим вслед за ним мужикам.— Лошади, которые вам достались от банды, теперь ваши. Это вам подарок от Советской власти. Вы добыли этих лошадок в бою, и они принадлежат вам по закону.

Мужики повеселели. Зубков продолжал:

— Сейчас кто-то из вас должен скакать в Кедровск с особым донесением. Может, добровольцы найдутся?

Закричали почти все разом:

— Я поеду!

— Хорошо,— председатель улыбнулся.— Всех нельзя послать. Поедешь ты, Офтин, и ты, Каргин. За старшего Офтин. Винтовки у вас есть. Возьмите вот еще на всякий случай наган.

Зубков вынул из внутреннего кармана тетрадку и карандаш. Быстро написав что-то, свернул аккуратно и подал Офтину:

— Вот тебе записка. Адрес там указан: ЧК. Смотрите, не попадитесь в лапы Попова. Чуть что — записку уничтожьте. И чтобы сегодня же обратно с донесением. Поняли? Остальным — по коням и до зари вести наблюдение за дорогами. О появлении подозрительных людей сообщать мне немедленно.

— Ясно, товарищ командир! — по-военному ответил за всех один мужик.

Когда верховые скрылись за избами, Зубков вернулся в дом Маркиных. Константин Павлович, задумавшись, сидел на скамейке, постукивая пальцем по столу. Прасковья Карповна поправляла одеяло на задремавшем Сереге.

Алексей Андреевич тронул ладонью голову вертевшегося тут Кости:

— Ну, герой, показывай, где винтовки. Да не горюй — вылечат твоего дружка. Вот и вас втянули мы в свое дело,— продолжал он.— Это только первые шаги. Впереди вас ждет много дорог. Будет и горе, будут и радости. Главное, есть у вас теперь своя власть — Советская! Вот бы только сберечь нам ее для вас! — закончил он задумчиво.

Растревоженный словами председателя, поднялся из-за стола и Константин Павлович. Вместе они вышли в заднюю избу. Здесь, за большим кухонным столом, подремывал Маркитан.

Костя подвел взрослых к шестку. Отодвинул в сторону полуобгоревшие дрова, заслонку, и Зубков с Маркиным увидели винтовки. Ложа некоторых из них чуть подпалились.

— Ну и шкеты! Вот молодцы-то! — удивился Алексей Андреевич. Спросил Костю: — Кто же из вас двоих придумал такое? Ба, да они и ящики с патронами туда втиснули!.. А если б загорелось — тогда что? Оставили бы дядю Костю без избы.

— Это не я. Это Серега все придумал,— оправдывался Костя.— Я ничего... Я только помогал.

— Ну и молодец, что помогал. Так и нужно было! Нельзя оставлять товарища одного в беде, понял? — Зубков подхватил Костю, высоко подбросил, поймал опять и тихонько опустил на пол.

Они вытащили винтовки из печи, извлекли оттуда ящики с патронами. Перетаскали в одно место и те, что были спрятаны на повете под сеном. Затем все оружие и боеприпасы перевезли в сельский Совет, а для охраны был поставлен круглосуточный караул.

II

В сельском Совете бандиты потрудились всласть: шкаф перевернут, стулья и столы исковерканы, по всей комнате валялась бумага, пол облит чернилами.

— Спасибо, что Волчок у нас послушный,— рассказывал Зубкову старик сторож,— а то бы нам с ним несдобровать. Залезли под крыльцо, обнял я его за шею и говорю: «Молчи, Волчок, не бреши. Это не собаки, а сущие волки!» Послушался меня, собачий сын, смекнул, что к чему — ничего не скажешь, умная тварь. Молчим этак вдвоем, не дышим. Твоему батюшке, Андреич, не удалось схорониться, как нам вот с Волчком. Высекли старика плетками здорово!..

Зубков не дослушал старика — поспешил домой. На кровати лежал отец. Вся спина в лиловых рубцах. Председатель, вздохнул, сжал крепче зубы и начал помогать старику одеваться в новую рубаху.

...Офтин и Каргин вернулись в Сивеньки после полуночи. Записку Зубкова доставили куда следует. Там им сказали, что к ним в село скоро приедет человек. Но ни утром, ни на следующий день никто не приезжал.

А здоровье Сереги продолжало ухудшаться. Поэтому ранним утром второго дня Константин Павлович запряг лошадь и сам отвез сына в кедровскую больницу. Перед отъездом в город Зубков снабдил Константина Павловича бумагой, из которой следовало, что «предъявитель сего», а именно Сергей Константинович Маркин, есть настоящий герой, которого надо непременно принять в больницу и вылечить.

В тот же день хоронили Антона Куштаева. Были закопаны и бандиты. Поп Никодим пытался, было, отвезти их на сельское кладбище, но сельская община запротес-

товала, чтобы эти душегубы покоились рядом с почтенными гражданами Сиваньков. С народом отец Никодим ничего поделать не мог. Пришлось примириться с тем, что у этого же леска, на краю оврага, мужики вырыли большую яму, уложили в нее всех убитых поповцев и быстро засыпали землей.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

I

После налета банды Попова село жило в тревожных ожиданиях. Люди лишились сна. Отовсюду доходили худые вести: бандиты порубили шашками и перестреляли коммунистов и активистов. Офтин и Каргин сообщили, что все перебитые были свезены в Кедровск и похоронены в братской могиле на городской площади. Кажется, то была первая братская могила в здешних краях. Впоследствии над нею был воздвигнут памятник: изваянный из камня рабочий. В одной руке — винтовка, в другой — красное знамя.

А пока что селян не покидала беспокойная дума: гляди, нагрянет еще какая-нибудь банда — может, злее первой, натворит бед похлеще. А тут страда подступает — не дадут, антихристы, собрать урожай.

В не меньшей тревоге пребывали и те, кто связал свою судьбу с Гавой. Сейчас, после разгрома отряда, люди из банды Попова приумолкли, затаились — им ничего не оставалось делать, как ждать лучших времен. А пока сорвалось — кто-то из-под самого носа утащил винтовки. Это не выходило из головы старого Куштаева.

«И как только советчики пронюхали про те ружья! — горестно дивился он.— Самим-то нам Гава сказал про них только тогда, когда к селу приближались их благородия. А тут — будьте здоровы: в одну минуту прибрали. Молодцы, ничего не скажешь! А мы... да что там говорить — дерьмо мы собачье, больше никто! Хорошо еще, что догадались схорониться в Ильмене. Присоединись с пустыми-то руками к поповцам — лежали бы теперь с ними в одной яме, там, у оврага. Ска-

зать по правде, и не успели бы мы объединиться — очен-но уж скоро унесли они хвосты из Сивеньков!..

А Гава тоже хорош! Не доверил нам спрятать ружья, а поручил каким-то недотепам из Вязановки. У меня бы хрен нашли энти советчики!..

А насулил-то сколько Гава, златые горы обещал! «Мы, эсеры, не дадим вас в обиду. Это ваша партия! А теперя улепетнул вместе со своей партией — ищи-свищи его! А нам расхлебывай. В самом деле, где он сейчас? Ни слуху ни духу об нем. Правда, спереж сказывали люди, будто выкрутился он, остался живой, только ранили чуток. Да и поделом ему! Для чего стрелял в благородий, в своих то есть? Ведь он ждал их — все глаза проглядел. Может, он христопродавец? Может, сам сказал Зубкову про склад с винтовками, а потом дрался вместе с ними против поповцев? Дьявол его поймет! В душу ему не заглянешь. Коль вновь объявится, надо подале от него. Не то беды наживешь с ним. Итак, поди, начнут скоро таскать по судам-следствиям. Только голыми-то руками меня не ухватишь. За кого, скажу, сложил буйну голову мой сын Антошка? За нее, за энту вашу... Советскую власть, а вы меня...»

Вот о чем, присмирев, думал теперь старый Куштаев. Да только ли он один! Все, кто был с ним вместе на Ильмене в ожидании команды Гавы, затаились, боясь, что вот-вот возьмут за шиворот и призовут к ответу. Однако все кругом пока было тихо и мирно.

II

Склад винтовок, налет на Сивеньки, разбой, учиненный в соседних селах — все это сильно встревожило сельских коммунистов. Зубков срочно созвал собрание партийной ячейки.

Гава, которого в последние дни никто не видел, самолично явился в сельсовет. Он вошел, прихрамывая, когда Зубков уже собирался открыть заседание.

— Полагаю, не буду тут лишним? — сказал он с порога, опираясь обеими руками о палку.

— Заходи, заходи, Гаврила Егорыч! Присаживайся вон там на скамейку,— пригласил его Зубков.— Я и сам хотел послать за тобой, да потом раздумал: человек больной, зачем тревожить. Как нога-то?

— Болит, проклятая,— и Гава выставил вперед за-

бинтованную ногу.— Да заживет, чего о ней плакать. Я пришел к вам вот по какому делу...

Все притихли и смотрели на Капитанова.

— Пришел, товарищи, чтобы передать вам вот это,— он вытащил из кармана наган и положил на стол перед Зубковым.— Не скрою, принес его с войны, как, скажем, Алексей Андреевич — винтовку. И как видите, очень правильно сделал. И винтовка, и наган весьма пригодились при встрече с бандитами, поднявшими руку на Советскую нашу власть. Наган послужил мне добрую службу — отправил на тот свет двух врагов, ну, а теперь он мне не нужен.

Алексей Андреевич взял наган и положил в стол. Про себя пожалел о том, что не отобрал этот револьвер там, у лесочка, когда Гава выстрелил в лежащего на дороге поповца. В то же время был доволен, что Капитанов не спрятал оружие, а принес в партийную ячейку. Человек, видать, прочно стоит за Советскую власть. Вслух же сказал:

— Оставлять оружие сейчас, Гаврила Егорыч, пожалуй, рановато.

— Это правильно, Алексей Андреевич. Однако революционная законность есть революционная законность. Когда понадобится, надеюсь, партия вручит мне оружие вновь. На вашем, товарищ Зубков, месте я бы приказал всем,— Гава окинул взглядом присутствующих,— сдать оружие. Оно должно находиться в революционном штабе до срока...

И, как бы воодушевившись от собственных слов, Гава подхромал к столу, за которым сидел Зубков, продолжал с еще большим волнением:

— Полагаю, не лишним буду для партии, принес вот заявление,— Гава извлек из внутреннего кармана бумагу и положил ее перед Алексеем Андреевичем.— С вами, дорогие товарищи, я скрепил свое имя собственной кровью. И коль окажете мне высокое доверие, ни головы, ни жизни своей не пожалею. А как я умею драться с врагами Советской власти, вы сами видели,— и он как бы невзначай выставил перевязанную ногу, охнул, как от внезапной боли, и, попятившись, сел.

— Тут дело ясное,— сказал Зубков.— Давайте начнем собрание.

И первым пунктом повестки дня был вопрос о приеме товарища Капитанова в партию большевиков.

Как и полагается, Гава поначалу немного рассказал о себе.

— Думаю, дорогие товарищи, вы все хорошо меня знаете. И детство и молодость моя прошли среди вас и на ваших глазах. И в решительную минуту схватки с врагом опять оказался среди вас и в ваших рядах. А теперь вот и наган сдал по доброй воле. Ну, что еще вам сказать о себе? — развел руки Гава.

— А почему ты не на гражданской войне? — спросил его кто-то.

— Вопрос справедливый,— тут же заговорил Гава.— Отвечаю: с фронта меня убрали из-за плохого зрения. Вот и справку на этот счет выдали,— Гава не спеша вынул из кармана вторую бумажку.

Капитанову задали еще два-три вопроса, но и на них он ответил столь же убедительно. Больше сомнений ни у кого не было. Гаву приняли в партию единодушно.

При обсуждении второго вопроса Гава чувствовал себя уже полноправным участником собрания, а говорил даже больше других и куда складнее. Собрание обязало всех коммунистов повысить революционную бдительность, решили на всех дорогах, ведущих в село, днем и ночью держать дозорных, приложить все усилия к поимке людей, причастных к складу оружия на Ильмене.

Гаве очень хотелось, чтобы во главе всех этих дел был поставлен он. Деликатно, осторожно, но настойчиво он подготавливал всех к мысли, что никто бы так не справился с этим, как он, Капитанов Гава. Понятно, по поводу всех этих дел у него были свои, особые планы. Гава знал: не сегодня, так завтра из Кедровска в Сивеньки должен был приехать следователь. Чекисту не стоит большого труда отыскать след, который привел бы его быстро к организаторам ильменьского склада оружия. Ребят, перетаскавших винтовки с полустанка Вязановка, Гава успел предупредить, чтобы они поскорее покинули свои села и подались на Волгу грузчиками. Сделайся сейчас Гава начальником над всеми этими дозорными, он легко мог бы войти в доверие кедровскому следователю, а потом уж знал бы, что ему делать дальше...

Однако планам Капитанова не суждено было сбыться. Их, против его ожидания, нарушил решительным образом Зубков.

— Нет, Гаврила Егорыч,— сказал председатель,— куда тебе с ногой пораненной?! Кабы не рана, тогда другое дело... Теперь же перво-наперво надо подлечиться. Ты еще пригодишься нам. А сейчас бери справку и отправляйся в больницу. А все дела, о которых мы тут толковали, придется возглавить мне.

После того собрания Гава ни разу больше не появлялся среди коммунистов села. В Сиваньках все решили, что Капитанов уехал в Кедровск лечить ногу. И никому в голову не приходило, что на второй же день, дождавшись темноты, знакомой тропой он направился прямо в Вязановку, к бородатому старику. Никому не ведомо, что он там делал всю ночь, и никто не видел, как на заре сел в поезд и укатил в Кедровск. Никто не мог понять и того, почему наложил на себя руки бородатый старикан,— днем вязановцы обнаружили его на заднем дворе повешенным.

III

Посланный в Сиваньки человек прибыл туда только на четвертый день. И сейчас же приступил к расследованию. Вместе с Зубковым ходил на Ильмень, тщательно осмотрел место, где были спрятаны винтовки, заглянул и к Маркиным. Позвав Костю Ярыгина, спросил:

— Ты не видел, Костя, как и кто убил Куштаева Антона?

— А то рази нет? Видал! Я тогда был на улице. Онта, значит, выскочил из своего дома с ружьем и побежал за бандитами — догнать их хотел. А они его не приняли в свою шайку. Один повернулся на лошади и выстрелил. Онта тут же упал и помер.

Сообщение Кости не дало следователю ничего нового. Ни один, казалось, человек в Сиваньках ничего не знал о том, откуда появились в Ильмене винтовки и патроны, кто их туда доставил. Правда, следователю показалось немного странным появление на селе после семилетнего отсутствия Гавы Капитанова. Но при дальнейших расспросах о нем выяснилось, что Гаврил Егорович Капитанов дрался с бандой Попова, был ранен и теперь уехал лечить рану.

И еще вопрос. Через какое село были переправлены на Ильмень винтовки? Сиваньки исключались: оружие

где-то надо было получить. А где? В Кедровске? Едва ли... Нужно поискать другое селение, поближе к железной дороге. Вязановка? Туда винтовки могли быть привезенными из любого города и затем переправлены на Ильмень. Другого пути нет.

«Так, и только так!» — решил следователь и в тот же день ушел в Вязановку.

Посреди двора на свежей соломе лежал бородатый старик. На перерубе сарая покачивались концы перерезанной веревки. Над покойником плакали женщины, тут же стояли и курили мужики. Казалось, они кого-то поджидали.

Чекист появился во дворе незамеченным. На глаза ему попался лоскуток бумаги. Он поднял его и стал рассматривать. Печатными буквами было четко выведено: «Я помираю, но мои винтовки пускай стреляют по большевикам. Кузьма». Следователь положил бумажку в карман. Вскоре в сопровождении какого-то шустрого паренька во двор пришел невысокого роста мужчина. То был председатель местного Совета. Следователь показал ему свои документы.

Чекист пробыл в Вязановке три дня, допросил многих людей. Двоих арестовал и отправил в Кедровск и только после этого вновь вернулся в Сивеньки, нашел милиционера.

— Приведи Куштаева Василия Силыча.

— Слушаюсь, товарищ начальник! — Кузя по-солдатски стукнул каблуками сапог и вышел из кабинета. Выходя, услышал слова председателя: «Поглядим, что скажет этот старик...» Кузя задержался в задней избе, подумал о чем-то и вновь вернулся к чекисту.

— Товарищ начальник! У нас тут, в обчем, теперя нету нутряных врагов. Тут теперя Советская власть.

Следователь с удивлением посмотрел на милиционера.

— Что, что ты говоришь, товарищ Пронькаев?

— Я, обчем, говорю: в Сивеньках врагов больше нету. Село, в каком я несу свою службу, живет тихо-мирно.

— Вон оно как! Тихо-мирно, значит! А о белогвардейцах ты что-нибудь слыхал?

— Так точно, гражданин начальник, слыхал. Они,

сволочи, убили лучшего человека в Сиваньках, Куштаева Онту, и поранили Капитанова Гаву.

— Кто тебе сказал, что Куштаев Антон — лучший человек на селе?

— Обчем, сам я так полагаю, товарищ начальник...— теперь не так уж уверенно проговорил Кузя.

— Послушай, товарищ Пронькаев! Тебе было приказано привести Куштаева.

Старый Куштаев явился в кабинет христосиком. В одной руке держал замусоленную фуражку, другой вытирал обильно выступивший на голом черепе пот.

— Фамилия, имя, отчество? — спросил следователь.

— Чье? Мое фамилие?..

— Да, да. И фамилия, и имя, и отчество. Все ваше!

— Куштаев — мое фамилие. А зовут Василием. Батюшку прозывали Силантием. Вот и получилось из меня: Куштаев Василий Силантьевич, или Силыч, по-нашенскому, по-сельски...

— Куштаев Василий Силыч?

— Да, дорогой товарищ, да! Василий Силыч Куштаев — он самый я и есть!

— С каких это пор я стал для тебя товарищем да еще дорогим? — улыбнулся следователь.

— С энтих самых, когда моего сына Онту застрелили благородия, то бишь, бандиты! — и отвернулся, подняв к глазам фуражку, словно бы пряча непрошеную слезу.

— Бандиты, говоришь? А может, все-таки благородия? Кто же они для тебя? Кем доводятся? Скорее всего — благородия? Так?

— Так, так, товарищ начальник! — не понял с испугу Куштаев.

Зубков сидит рядом с чекистом, слушает ответы Куштаева и думает: «Точно лисовин старый заметает хвостом свои следы. Но только зря старается. Нога-то одна уже в нашем капкане».

— Ну вот что, гражданин Куштаев. Поговорили о пустяках — и хватит. Теперь о деле. Где был склад оружия? Кто его организовал? — строго заговорил следователь.

— Какой склад, гражданин начальник? Впервые слышу. Грешно, милок, в такие-то дни трясти меня за душу. Поди, знаешь, какое у меня горе? — бельмо в глазу Куштаева запрыгало, задергалось.

«Все равно не выкрутишься,— вновь подумал Зубков.— Мы не дурее тебя!»

— Где ты находился, гражданин Куштаев, в тот день, когда бандиты громили тут Советскую власть?

Вопрос был неожиданный, и, выигрывая время, Куштаев оглядел всю комнату, словно бы ища спасительный ответ. Наконец заговорил:

— Кхе-кхе... ездил, ездил, гражданин начальник, в дальний лес. У меня там копешка сена была. Боялся, увезут.— Старик искоса глянул на следователя и продолжал уже с каким-то клекотом в горле: — Ежели б не та паршивая копешка, милок, может быть, и сын Онта не помер бы такой страшной смертью...

— Может быть, и так. Может, отец и не пустил бы его, не дал сыну лезть очертя голову куда не след. Однако ж ты и сам готов был помочь бандитам. Да не вышло у вас ничего!.. Ну, как, сенцо-то привез?

— Вы что прицепились ко мне? — взъярился вдруг старик, как бы вовсе забыл, где находится.— Мой сын голову сложил за Советскую власть, а они мутузят меня, страшную вину возводят на старую мою голову. Ты же, гражданин начальник, сам сказал, что бандиты громили тут кого?! Советскую власть! А вот никого другого не укокошили, а моего сына! А все почему? Потому, что мой Онта один находился на ту пору в селе, а все остальные разные коммунисты... и он в их числе,— кивнул Куштаев на Зубкова,— пятки смазали, только их и видели! Все попрятались, кому Советская власть не дорога была. Вот и выходит, что нужна она была только моему сыну Антону.

Старый Куштаев весь трясся от гнева — не наигранно, а уж всамделишнего. Была бы его воля — собственными руками бы задушил ненавистных ему людей. Но руки эти пока что в нетерпеливой ярости комкали фуражку.

— А ты потише, гражданин Куштаев. Глухих тут нет, да и не на базаре ты,— остановил старика следователь.— Говоришь, сына убили бандиты?

— Я уж сказывал про то. Чего еще от меня хотите?

— Не торопись. Скажу, скажу. Все скажу. Да, убили твоего сына действительно бандиты. Про то каждый малец на селе знает. Не знают твои односельчане только о том, как же твой Антон, которому так дорога Советская власть, не пошел ее защищать на фронтах гражданской

войны? И где это он, не понюхавший пороха, взял вот эту штуку? — сказал следователь и положил перед собой обрез, который валялся рядом с убитым Антоном, тот самый обрез, что подобрал потом Алексей Андреевич Зубков.

Старый Куштаев вздрогнул, но сейчас же взял себя в руки. Отмахиваясь от обреза фуражкой, как от наваждения, быстро заговорил:

— Мой сын, милок, такими игрушками не баловался, не маленький, чай! Не знаю, не ведаю, гражданин следователь, откель оно появилось... это самое. У вас, чай, таких игрушек теперь сколько угодно: какую захотите, такую и вытащите. Может, и эту...

Следователь помрачнел. Он с трудом сдержал себя:

— Эту игрушку, как ты ее назвал, гражданин Куштаев, подняли с земли там, где лежал твой сын. И не Советскую власть бросился он защищать, а хотел присоединиться к бандитам, да те в панике не разобрались и кокнули Антона. Своего же кокнули! И такое бывает на войне, гражданин Куштаев! Был бы ты дома, обрезец-то постарался бы спрятать. Но тебе было недосуг. За копешкой сена подался в дальний лесок. Вот ведь какие дела, гражданин Куштаев. Может быть, теперь скажешь правду?

Куштаев молчал. На него вдруг напала икота.

Следователь позвал милиционера.

— Возьми его под арест,— кивнул чекист на Куштаева,— и смотри: за этого старика ты у меня ответишь своей головой! Запри под замок и возвращайся сюда!

Когда Кузя вернулся, следователь спросил:

— Так-то ты, товарищ милиционер, защищаешь тут Советскую власть?

— А разве плохо? Я, обчем...

— Постой, постой! Ты своим «обчем» не отделаешься.

— Могу сказать и по-другому. Был тут у нас один, который самогон гнал и резал под корень... Я его, обчем, изловил и привел сюда. А разоблачить мне самогонщика помог этот самый Куштаев, с которым ты, товарищ начальник, тут беседовал. Василий Силыч — надежный человек.

— Нечего сказать, подобрал ты себе помощников!

— А что, разве плохо? Они мне всё, как есть, сообчают — кто и где что делает. Они — мои аген-

ты! — выпалил Кузя и спохватился: кажется, сказал лишку.

Следователь посмотрел на него и пожал плечами. Помолчав, приказал:

— Иди на свое место. Еще раз предупреждаю: за Куштаева отвечаешь головой. Нашел агентов!

Милиционер вышел, а следователь задумался: «Придется захватить с собой в Кедровск. Либо прикидывается дураком, либо действительно дурак. Как бы там ни было, а льет воду этот Кузя на чужую мельницу».

К концу дня следователь управился со всеми делами: винтовки, патроны и наганы были сданы и приняты по акту. Оружие было погружено на одну телегу, на ней ехал следователь. На второй — сидели милиционер и Куштаев.

Небольшой этот обоз направился в Кедровск.

А спустя неделю Куштаев был освобожден. Он заявился в Сивеньки такой, будто целый год проработал на каменоломне. Поэтому жил теперь ушки на макушке, язык — за зубами, для верности крепко сжатыми. Пронькаев Кузя в село так и не вернулся.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

I

Нет, не пришлось Сереге видеть всех красот нынешнего лета. Не знал он, какие рыбины плескались в Медведице, сколько раков, подбирая шершавые свои клешни, устраивалось в темных и сырых норах, не знал, что творилось в окрестных лесах и лугах.

Больничная палата — четыре стены, два окна, четыре койки, четыре тумбочки — в ней провел Серега все лето. Сюда глянешь — все те же стены, те же трещины на них и углы; туда посмотришь — та же дверь и койки.

Мальчик часто подходил к окнам, но видел всякий раз одно и то же: тополя, будто зеленым одеялом прикрывшие больницу, и тропочки, убегающие от одного флигеля к другому. Вон из той жестяной трубы течет вода, когда дождь. По тропе идет сейчас, направляясь в

другой флигель, в белом халате сестра. Может, и там лежит такой же малец, как Сергей? Может, и его до полусмерти избили беляки? Может, оттого поникли цветы по обеим сторонам тропинки? Жалко им мальчишку...

Пропал бы совсем от скуки Серега в больнице, если бы не добрые люди, которые никогда не оставляли его одного. Одни читали ему книги, другие рассказывали сказки, а третьи — разные истории из своей жизни, такие, что ни в одной сказке не услышишь.

Каждый день приводили Серегу в перевязочную. Тут с его лица снимали старые бинты, мазали какими-то лекарствами рану и вновь и вновь обвязывали лицо белоснежной марлей.

Как-то утром его опять привели в кабинет и усадили на стул. Сестра занялась им в тот момент, когда в сопровождении другой сестры, вошел другой больной. Ему тоже начали делать перевязку. Сереге не терпелось оглянуться и узнать, что это за человек и что у него болит? Но — перевязка! И, лишь покидая кабинет, мельком глянул туда и ужаснулся: человек был вроде весь изглодан. Вместо ушей у него топорщились какие-то подсушенные грибы, нос — точно расклеванный курами огурец, веки немного вывернуты и жутко краснели, пальцы на руках выломаны, выкручены...

Серега еще раз посмотрел на изувеченного, встретился с его взглядом. Что-то очень знакомое! Глаза черные, очень похожие на дяди Петины глаза. Но лицо?.. у дяди Пети оно было совсем другим.

Серега вышел из перевязочной, но перед ним по-прежнему светились эти глаза. Через какое-то время Серега опять встретился с этим человеком в перевязочной, стараясь хорошенько разглядеть его, и вдруг услышал его голос: «Вот, сестричка, вылечусь и с новыми силами буду громить белых». Теперь уж и голос показался знакомым.

Во время перевязки мальчик застонал. Сестра стала успокаивать его:

— Сереженька! Потерпи, сынок. Я полегоньку...

Черноглазый быстро обернулся:

— Что это за мальчик? Чей? Откуда?

— Ох, не спрашивайте. В такие малые годы и уж под плетьми белых побывал. Так избили сердешного, так измочалили — как только мать родная разума не лиши-

лась! Из Сивеньков он. Банда Попова там «погостевала». Чем провинился этот ребенок, ума не приложу! Все лицо плетью рассекли...

Сестра еще что-то хотела сказать, но черноглазый остановил ее, заторопился:

— Погоди, погоди, сестричка! Из Сивеньков, говоришь?.. Сергеем величают?.. А уж не мой ли это братишка?.. Фамилию скажите!

— Маркин.

Теперь встрепенулся Серега:

— А? Что? Кто меня спрашивает?

— Это они так... про себя говорят... Сиди смирно,— сказала сестра, делавшая мальчику перевязку.

— Маркин?! Сережка?! — черноглазый соскочил со стула и хотел было направиться в другой конец кабинета, но его остановил строгий голос сестры:

— Товарищ Камакшев, сядьте! Перевязка не закончена. Где ваша дисциплина?

— Виноват,— только и сказал Петр Андреевич, усаживаясь на прежнее место. Но сейчас же за своей спиной услышал звонкий мальчишеский голос:

— Дядя Петь!.. Это ты?.. Родненький! Это ты, ты, ты! — и Серега бросился на шею Камакшеву. Тот тряс его за вздрагивающие плечи и говорил сдавленным от волнения голосом:

— Я, я это, Серега! Я, братишка!.. Вот так встреча! Ну, ну, только не это! Слышь?.. Не реветь!.. Успокойся.

Обе сестры стояли в сторонке и с удивлением наблюдали эту сцену.

Когда мальчик немного успокоился, Петр Андреевич сказал, обращаясь к сестрам:

— Это мой братишка. Я очень прошу: переведите его в мою палату. Так мы быстрее выздоровеем. Правда, Серега? Ну, вот и хорошо. Он согласен.

В тот же день Серега оказался на койке по соседству с Петром Андреевичем Камакшевым.

II

От волнения ли, вызванного неожиданной встречей, от другого ли чего, рана Сереги разболелась сильнее. Она как-то почернела, покрылась жесткой коркой, под глазом припухло, а сам глаз окровянился, покраснел и

ничего не видел. Не Петр Андреевич, конечно, был причиной Серегиных страданий, а Маркитан, который внес-таки инфекцию. От боли Серега плакал, и даже дядя Петя не мог его успокоить.

К физическим страданиям прибавились страдания сердечные. Серега сильно скучал по дому. Ночью, когда в палате все спали, он, закутавшись с головою в одеяло, уносился мыслями в родные Сивеньки. Он был готов даже покинуть дядю Петю, лишь бы поскорее увидеть отца и мать, которые, конечно же, сразу вылечили бы все его болячки. Серега очень боялся умереть в больнице.

Временами на душе у него было так горько и тоскливо, что он начинал уже не плакать, а рыдать. Просыпался дядя Петя, успокаивал, говорил ласково: «Нельзя так, Серега. Тут все болеют. И я и другие. Но, видишь, никто не плачет. Ты же парень, большой уже...»

Петр Андреевич старался говорить спокойно, но сердце его разрывалось от острой жалости к мальчишке, которого он любил как родного сына.

После очередного вечернего обхода Серега по обыкновению лежал, накрывшись с головой одеялом.

В палате было тихо. И от этой тишины сердце мальчика опять сжалось, захотелось заплакать, ему помешал какой-то хрип. Всмотревшись хорошенько, Серега увидел, что хрипит дядя Петя. «Что с ним? — испугался мальчик.— Что это?» Потом дядя Петя перестал хрипеть и начал говорить во сне. Понять, что он говорил, было трудно. Серега разбирал лишь отдельные слова: «Ты... контра!.. Стрелять?.. В большевика?..» Сереге показалось, что дядя Петя задыхается. Тихонько соскользнув с койки, он выскочил из палаты. Куда бежал — сам не знает. В коридоре его остановила сестра.

— Сережа! Ты куда?.. Что случилось?

— Там... там, дядя Петя... помирает...

Сестра взяла Серегу за руку, и вместе они вошли в палату, где продолжал кричать во сне Петр Андреевич. Сестра осторожно повернула его на другой бок, и он замолк. Затем уложила Серегу. Поправляя на нем одеяло, тихо сказала:

— За дядю своего не беспокойся, Сережа. Закрой глаза. Вот так и ни о чем не думай. Спи...

Убедившись, что в палате все затихло, сестра вышла на цыпочках, прикрыла за собой дверь. Но этого уже не



слышал Серега. Он спал и видел очень хороший сон, будто с Костей Ярыгиным катается с горы на салазках. Салазки Сереги сорвались с вершины бугра первыми и полетели вниз. За ними мчится и Костя, но почему-то никак не может догнать друга. Серега кричит ему: «Давай, давай! Догоняй!.. Все одно не догонишь!.. Э-э-э, не догнал!» — Серега смеется, поглядывает через плечо на друга, а салазки несут его уже над селом. Над его домом салазки покрутились-покрутились и мягко сели в проулке. Слезая с них, Серега свалился в канаву и никак не может выкарабкаться оттуда. Почему-то ни руки не может поднять, ни ноги, ни повернуться на другой бок, ни подать голоса. Проснулся весь в поту и долго не мог понять, где он. Напряженно начал всматриваться в темноту и, разглядев знакомые стены, окна и койки, мало-помалу успокоился.

III

В больнице скоро узнали, при каких обстоятельствах попал сюда из эрзянского[1] селения мальчик по имени Сережа. Сам он рассказал все дяде Пете, а от него уже прознали остальные: врачи, сестры и больные. В палатах теперь только и было разговору о нем.

Серега сделался всеобщим любимцем. Его теперь звали не иначе, как «наш маленький герой».

Вот и сегодня, после завтрака, отложив газету в сторону и сняв очки, Петр Андреевич спросил Серегу:

— Ну, герой, чего ты нынче нам расскажешь?

— Сон видел, дядя Петь. Будто на салазках летал, а потом упал в канаву и никак не вылезу.

— Хороший сон, Серега. Коль во сне летал — значит, растешь, а коль растешь — значит, выздоравливаешь,— опередив Камакшева, пояснил один из больных, очевидно, большой любитель отгадывать сны.

— Не-э-эт! — решительно возразил Серега.— Я тут не расту. И никто не растет. Тут только хворают. А вон дядя Петя в прошлую ночь чуть не помер. Кричал все: «Контра! Стреляй!»

— У твоего дяди Пети, Сережа, песня эта известная.

[1] В Саратовской губернии было немало мордовских сел.

Он частенько распевает ее по ночам,— сказал еще не старый человек, лежавший на койке в углу.

— Ага,— согласился Серега и продолжал: — Потом я позвал тетеньку. Кто это тебя хотел расстрелять, дядь Петь?

— Ну, это дело прошлое, Серега. И постреливали в меня, и в огне я горел, но сам видишь: живой твой дядя Петя, и никаких гвоздей! Мы еще с тобой, Серега, повоюем с беляками, и потом для нас большие дела найдутся. Вот увидишь!

А Серега посматривал на Петра Андреевича и думал: «Что же с ним все-таки приключилось? Кто же его так? И нос, и уши, и пальцы — не как у всех, все вывернуто и ободрано. Ведь он был такой красивый, красивше всех!» Мальчишке очень хотелось знать, кто же так надругался над его дядей Петей. Кто стрелял в него? Не те ли беглые бандиты, какие прошли через их Сивеньки?

Серега опять — в какой уж раз! — принялся упрашивать Петра Андреевича рассказать обо всем.

— Ну, хорошо,— глубоко вздохнув, как бы набираясь сил, начал Петр Андреевич.— Вышибли мы беляков из одного села. Те — удирать, да успели поджечь село. На полном скаку ворвались мы на улицы, когда несколько домов уже пылало. Из одной избы до меня долетели крики детишек. Я спешился и подбежал к дому. Все ставни на окнах и двери были заперты снаружи, а изба уже вся окинулась огнем и дымом. Ложем винтовки выбил одну ставню, вышиб стекла вместе с рамой и прыгнул внутрь дома. Там, в самом дальнем углу, под кроватью и нашел ревущих детишек. Их оказалось трое. Один мальчишка, две девочки. Они уже задыхались в дыму. Вытащил их, ну, а самому досталось малость... личность мою подпортил огонь, подпалил. И рукам досталось — вон они у меня теперь какие, как клешни у вареного рака,— Петр Андреевич попробовал улыбнуться, но на лице его появилась страшная гримаса, по глазам слушателей он догадался о ней, нахмурился.— После долго лежал по разным лазаретам, а в Красную Армию уже не взяли. Направили работать в село.

Серега прерывисто, со всхлипом, вздохнул и опять спросил:

— А стрелял в тебя кто, дядь Петь?

Занятый какими-то своими думами, Петр Андреевич молчал.

— Во сне-то ты все кричал: «Стреляй, сволочь!» Может, это те же беглые бандиты, какие и меня плетью?..

— Те, другие ли — порода у них одна, Серега. Одним словом — бандиты...— и Камакшев рассказал о том, как работал после фронта в одном селе, как его, коммуниста, схватили однажды белогвардейцы, привели на край оврага и почти в упор выстрелили.

Первая же пуля угодила Камакшеву в плечо. Петр Андреевич свалился в овраг и притворился мертвым. Это и спасло его.

— Вот, Серега, теперь ты сам видишь: большевики такой народ — и в огне не горят, и пуля их не берет,— закончил свое повествование Камакшев. Помолчав, добавил со вздохом: — Впрочем, пуля-то белогвардейская все-таки меня укусила. Врачи говорят, что рука не будет работать. Но мы еще поглядим!..

Петр Андреевич положил больную руку на подушку и опять заговорил:

— Не во мне, конечно, дело. Одного меня или там двоих-троих, даже тысячу таких, как я, убить можно. Но весь народ не убьешь. Выбрался я из того оврага ночью. Одна семья укрыла меня у себя, а после отвезла сюда. Тут и встретились мы с тобой, Сергуха. Оказалось, вместе дрались с теми беляками, вместе кровь проливали. Самое страшное у нас с тобой, дружище, уже позади. А что кричу во сне — так то пройдет!..

Серега с восхищением смотрел на дядю Петю, слушал его затаив дыхание,— впрочем, так же слушали и все остальные. Про себя же мальчик думал: «Может, и я когда-нибудь буду таким». Вслух неожиданно объявил:

— Дядь Петь, а портрет-то я спрятал. Теперь никто — и папанька, и мамка — его не найдет.

— Какой портрет? — не понял Камакшев.

— Известно какой. Ты сам мне его подарил. Аль забыл? Ле-нин! — торжественно выпалил мальчик.

— А-а-а! Зачем же ты его спрятал?

— Чтобы бандитам в руки не попался.

— Молодец, право слово! — похвалил Петр Андреевич.— Спасибо, брат, тебе за это.

— Я, дядь Петь, помню, чай, что ты мне сказал тогда. Береги, сказывал, Серега, этот портрет. Вот я и сберег. Бандиты искали-искали — и винтовки, и другое что-то. Да ничегошеньки не нашли. Во!

— Здорово, Серега!.. Ну, а теперь хватит.

Серега, однако, не вытерпел и задал вопрос, который давно не давал ему покоя:

— Дядь Петь, а куда делся жеребец, которого отдал тебе папка?

— Жеребец, спрашиваешь?.. Не пришлось мне, Серега, долго на нем гарцевать. Другой теперь у него всадник. Но ты не тужи. Хороший командир теперь скачет на нем за беляками, вместо меня командует отрядом.

Серега призадумался. Хотел было еще о чем-то спросить дядю Петю, но в палату вошла сестра со своими стеклянными баночками и пузырьками — стала раздавать лекарства.

Так проходил день за днем. Среди взрослых этих людей, успевших повидать много, много пережить, быстро взрослел и Серега. Книжки он теперь читал уже быстро, научился понемногу и писать — правда, писал пока что печатными, как в книге, буквами. Он мог бы написать письмо Косте Ярыгину, своему закадычному дружку, да вот беда: читать Костя не умеет вовсе.

IV

Мать Сереги давно уж ходит перед больницей, всматривается в окна — не увидит ли в каком-нибудь окне своего сынка. В одной руке — узелок с гостинцами: сдобные лепешки, вареные яички, мясо. Вторую руку держит козырьком надо лбом, чтобы получше видеть. Но окна высоко от земли, и в них не заглянешь, хоть и встанешь на цыпочки. Сколько раз уж она приближалась к больничным дверям, сколько раз поднимала руку, чтобы постучать. Но всякий раз бессильно опускала, боялась — поругают. В конце концов она отыскала скамеечку на больничном дворе, присела на ней и стала ждать, когда с базара завернет сюда ее муж, где он остался кое-что продать. Сама же не сводила глаз с дверей, все думала, что вот-вот выскочит на улицу ее ненаглядный Сергуха.

Скоро дверь открылась, и во двор вышла молодая женщина в белом халате, с двумя зелеными ведрами в руках. Прасковья Карповна сорвалась со своего места, преградила женщине дорогу:

— Сыночка своего пришла проведать, Сережу... Мо-

жет, знаете его?.. Как он там?.. Идет ли на поправку?..

— Мать, говори со мной по-эрзянски. Ты ведь эрзянка? — сказала сестра, задерживаясь.

— Неужто и ты, голубынька, эрзянка? Неужто и тут работают эрзянки? Может, и дохтуры есть эрзяне?.. Как же там мой сыночек Серега?

— Вот что, мамаша. Время сейчас раннее. Идет обход больных. Через час я тебе скажу. Как фамилия твоего сына? Ах, Маркин? Сережа Маркин! Знаю, как же! Про него у нас все знают. Ну, так подожди здесь!

Прасковья Карповна послушалась, вернулась на ту же скамеечку и, присев там, снова стала смотреть на больничную дверь. Время, как всегда бывает в таких случаях, тянулось очень медленно. Вот уж и Константин Павлович, покончив со своими делами на базаре, присоединился к ней. Он был посмелее жены и решительно направился к двери, но появилась опять знакомая Прасковье Карповне молодая женщина и сама привела их в прихожую. Тут с сильно заколотившимися сердцами мать и отец ожидали сына.

Тем временем сестра вошла в палату, позвала:

— Сережа! Родители твои приехали. Ступай, они ждут тебя в прихожей!

Батюшки, что творилось с Серегой! Он вылетел было из палаты один, потом, спохватившись, вернулся, схватил цепкими пальчонками здоровую руку дяди Пети и стал тянуть его за собой. Петр Андреевич поправил перекинутую через плечо марлевую повязку, которая придерживала больную руку, смахнул со лба пот и пошел за Серегой.

В прихожей Серега прямо с лету кинулся сперва на шею матери, потом — к отцу. Петр Андреевич стоял в сторонке и молча наблюдал за этой встречей. Маркины его не замечали. Серега первым опомнился, закричал:

— Пап, мам!.. Почему не здороваетесь с дядей Петей? Вы разве его не узнали?.. Ведь это ж наш дядя Петя!!!

Константин Павлович и Прасковья Карповна только теперь взглянули на Петра Андреевича, который продолжал молча стоять в сторонке. Ему хотелось дождаться: узнают ли его?

— Господи, боже ты мой! — всплеснула руками Прасковья Карповна.— Да ведь это и вправду Петр! Петя,

сынок! — Прасковья Карповна со слезами бросилась к нему.

— Я, я, тетя Проска. Здравствуйте!.. Здравствуй, Константин Павлович! Неужели и вправду не узнали меня?

— Как не узнать? Просто не думали увидеть тебя тут. Как же это все получилось, а? Почему молчал до сих пор? Так, брат, не поступают близкие люди,— здороваясь, обиженно говорит Константин Павлович.

И он, и его жена вновь принялись рассматривать Камакшева, как бы желая убедиться, что перед ними в самом деле он.

— Вай, мамыньки мои, Петя! На кого же ты, сынок, похож теперя! Тебя и вправду трудно узнать. Лицо-то будто не твое. Кто же тебя так?..

— Это длинная история, мать. В другой раз как-нибудь расскажу.

— Ни письмеца, ни весточки не прислал,— корила его Прасковья Карповна,— и сейчас о себе — ни словечка. Разве ж мы чужие тебе, Петя?! — и Прасковья Карповна вновь заплакала.

— Видите, какой из меня писарь! — слабо оправдывался Петр Андреевич.— Мы вот с Серегой ждали вашего приезда. Ну рассказывайте же, как там у вас...

Константин Павлович коротко поведал о своем житье-бытье, о селе, о том, что сейчас более всего заботит пахаря-сеятеля, сообщил и о нападении банды Попова, и о ее разгроме, не забыл упомянуть и про Гаву.

Петр Андреевич очень удивился:

— Кто, кто? Гава? Жив?.. Говорите, был в селе?.. Ну и ну! Вот это новость!.. Где же он сейчас? В Сиверьках?

— Нет. Ранили его во время боя с бандой. Коммунисты наши приняли его в партию и отправили лечиться.

— Да-а-а, вот те на! — не переставал удивляться Камакшев.— Вот бы повстречать его!

— Может, и встретитесь еще. Теперь и он коммунист,— тихо сказал Константин Павлович.

— Гава, конечно, не глупый парень. И работать умеет. Но только вот его убеждения... Изменились ли они?.. Впрочем, время покажет.

— И то правда,— согласился Константин Павлович.

Они, верно, проговорили бы весь день, но в какой уж раз выходила в прихожую сестра и предупреждала, что время свидания давно истекло и что больным пора отдыхать.

Петр Андреевич поднялся первым:

— Ничего не поделаешь. Мы с Серегой тут подчиненные. А она — командир,— кивнул он в сторону ожидавшей их сестры.— Думаю, теперь почаще будем встречаться. Серега пошел на поправку, да и моя рука помаленьку начала шевелиться. Так что дела идут хорошо.

Они попрощались. Петр Андреевич обнял Серегу за худенькие плечи своей здоровой рукой и повел в палату.

V

Серегу выписали из больницы одновременно с Петром Андреевичем. Омрачало его радость то, что дядя Петя не поехал вместе с ними в Сивеньки.

Константин Павлович приехал за сыном на лошади. На телеге — сухое сено. От него веяло сладостным духом лугов. На сене лежали пустые мешки: привезенное зерно Маркин-старший сдал на элеватор.

Братьев провожала вся больница. Константин Павлович не мог скрыть гордости от того, что его сыновья, приемный и родной, полюбились тут всем. Ему и в голову не могла прийти мысль о том, что Камакшев не поедет вместе с ними в Сивеньки. И когда узнал об этом, страшно расстроился.

— Почему так? Куда же ты теперь, Петро? — спросил он в замешательстве.

— У меня дорога одна. Сперва наведаюсь в уком, а там видно будет.

— Твоя воля. Да тебе и видней. Только села-то нашего не забывай. Если что — приезжай немедля.

— Спасибо.

— Ну что ж, прощевай, дорогой,— Маркин протянул руку, потом не сдержался, обнял.— До свиданья, Петро!..

— До встречи! — Камакшев расцеловал Константина Павловича. Затем повернулся к Сереге: — Ну, маленький герой! Будь здоров! Расти большой, не хворай и вот

тебе мой подарок,— он протянул мальчишке несколько книг.

— Прощай, дядя Петь! Я очень, очень буду тебя помнить и ждать. За книги большое-пребольшое спасибо! — кричал уже с телеги Серега.

VI

Была осень, но солнце, как бы прощаясь, отдавало засыпающей земле всю щедрость своего горячего сердца: стояла необычная для такой поры жара.

Маркины выехали на главную улицу города. По ней туда и сюда двигались подводы — кто вез хлеб, кто гнал телегу порожняком, опроставшись на элеваторе: мужиков подхлестывала продразверстка.

Серега сидит на мягком, пружинистом сене, смотрит вперед и видит лишь дуги да качающиеся головы лошадей, будто кто-то невидимый подергивал их за невидимую узду.

Серега хоть и находился долго в городе, но, по сути, не видел его: больничный двор еще не город. И только теперь он открылся ему весь. Какие тут преогромные дома! Двух- и даже трехэтажные, и все кирпичные. В Сивеньках ни одного кирпичного дома нет, кроме церкви. А тут вон их сколько! А во-о-он у того дома даже четыре этажа!..

Серега поворачивает голову то в одну, то в другую сторону, и его удивленью нет конца. В одних домах окна почему-то наглухо закрыты ставнями, через окна других вырывается музыка. Отец пояснил — там играет граммофон. А что оно такое, граммофон, Серега не знает. Может, гармошка какая? Но что-то не похоже. В Сивеньках есть гармони, но они играют по-другому, а такой музыки Серега никогда не слыхивал. На что уж мастак перебирать лады да колокольчики на своей саратовской Ваня Алякин, но и у него так не получается. Это-то хорошо знает Серега.

А столбы? Будто солдаты, стоят они по обеим сторонам улицы, только винтовок нету у них и шашек. Вместо этого они держат на своих железных руках стеклянные и фарфоровые чашки. От столба к столбу, там, высоко, тянулась проволока, точно нитка в мамкином ткацком станке. И столбы гудят, гудят — стройно так и про-

тяжно. Серега слушает их музыку и, не отрываясь, с открытым от радостного удивления ртом, глядит на дивные чашки. По мере удаления от столба музыка эта постепенно стихает, а с приближением к следующему — снова возникает, все усиливаясь. Так и провожала она их через всю улицу, а потом и через все поле, пока ехали по большаку.

Откуда бы взяться ей, этой удивительной музыке? Кто там ее заводит? Может, чашечки — вовсе не чашечки, а уши, и они тоже слушают музыку? Может, и столбы, и проволоку для того и протянули, чтобы была такая музыка, чтобы, значит, людям повеселее было ехать по улицам и пустынным степным дорогам?..

— Пап, столбы и проволока — для музыки? Да? Чтобы нам веселее было, да? — не вытерпел Серега.

— Нет, сынок, не для этого.

— А для чего же?

— Чтобы разговаривать по этим проводам.

— Как это — по проводам разговаривать?..

— Да очень просто. Взять, к примеру, наши Сиваньки и Кедровск. В Сиваньках, положем, живешь ты, а в Кедровске — дядя Петя. Ты, скажем, соскучился об нем, захотелось тебе поговорить с ним. Кричать через такое расстояние — никто тебя не услышит, хоть надорвись. А через эти вот провода тебя где хочешь услышат. Только нужно установить телефон.

— Ура-а-а!.. У нас будет телефон?

— Да ты что так кричишь? Придет время — и телефон будет, и электричество. Появится лампочка такая...

— Она что же, без керосина будет гореть? — нетерпеливо перебил отца Серега.

— Знамо, без керосина. Потому и называется электричество.

Нет, никак не укладывается в Серегиной голове такое: говорить по проводам — телефон; гореть без керосина — электричество.

Отец, однако, продолжал:

— Электричество — это такой огонь в стеклянных лампочках, точно солнце, яркий. При нем и ночью можно читать книги прямо на улице. Все, все будет видно. И называется тот огонь «лампочкой Ильича». Лампочкой Ленина, стало быть. В Кедровске оно уже было, электричество, да электростанцию белые разгромили, когда были тут.

Слушая отца, Серега размечтался и не заметил, как подъехали к какому-то дому, где Константин Павлович остановил гнедуху и бросил вожжи в руки сына.

— На, Серега, держи. Я скоро вернусь.

Вскоре отец действительно вернулся и вручил сыну гостинец: два фунта колбасы и булку. Ах, какими вкусными показались они Сереге! Такого он отродясь не едал!

Но вот они уже миновали большой мост. Над Медведицей его поддерживали не какие-то там деревянные столбы, а огромные железные, крепко спаянные друг с другом. И это тоже поразило Серегу: откуда могли набрать столько железа, когда в их Сиваньках и ржавого гвоздя не найти? А мост висит над рекой, словно в воздухе. Вот чудо-то!

По дороге через поля Сереге все время приходилось смахивать с лица паутину. На дугу, на гриву лошади, на Серегину голову, на его отца прозрачными невесомыми волнами наплывали тончайшие, прилипчивые ниточки. Они уже успели покрыть и стерню, и пожухлые стебельки разных трав на межах, и мелкий кустарничек над оврагами, так что поле казалось посеребренным. Если б не разрозненные группки людей, копошившихся на картофельных загонах, поле было бы совсем пустынным. Там, где они копались, от небольших костров тянулись к небу синие ленивые дымки.

Большак, по которому они сейчас ехали, хорошо знаком Сереге: он прямо ведет из города в село. На полпути к Сиванькам к дороге прилепилась деревушка Тауза, возле которой через глубокий овраг перекинут второй большой мост, деревянный. Когда едешь по нему на лошади, мост весь качается. За мостом, совсем недалеко от него, надо свернуть чуть направо, на проселок, который лесочком Колки быстро доведет до Сиваньков.

Тут, у этого лесочка, и поджидал своего дружка Костя Ярыгин. Он знал, что сегодня из города должен был приехать Серега, потому как еще рано утром за ним поехал отец. Время тянулось долго и, чтобы как-то скоротать его, Костя напридумывал себе множество разных дел. Сперва он собирал камушки и, определив для себя какую-то мишень, обстреливал ее. Потом на обочине дороги выкапывал перочинным ножичком печурку — такую, что в ней хоть картошку пеки. Время от времени он прекращал свои занятия и долго всматривался в даль до-

роги, выглядывая, не появится ли телега Маркиных, а в ней Серега. Уж много подвод проехало мимо Кости, а той, какую ждал, все не было.

Но вот из-за леса появилась сперва макушка подпрыгивающей дуги, потом показалась и лошадь, а затем и вся повозка. Костя узнал гнедуху Маркиных и, раскинув по-птичьи руки, полетел навстречу, словно хотел преградить им дорогу. Константин Павлович остановил лошадь и, пригнувшись, поднял своего маленького тезку на телегу. Друзья до слез обрадовались этой встрече.

А дома Серегу ждала мать. Давно уж истопила печь, убралась, накрыла стол белым столешником и сама принарядилась, как могла: надела черную юбку, синюю кофту, голову повязала белым платком. Ждала возвращения сына, как большого праздника. Делает что-то по дому, а сама все поглядывает в окно: не появится ли в конце улицы их телега?

Гнедуха остановилась перед воротами и, давая о себе знать, фыркнула. Мать сбежала с крыльца и, заправляя на ходу волосы, выбившиеся из-под платка, бросилась к сыну.

— Соколик мой!.. Искорка моя золотая!..— Прасковья Карповна обнимала и целовала сына. Серега с трудом удерживал себя, чтобы не заплакать. Как же он мог при Косте!.. Отдал матери купленные отцом гостинцы и спрыгнул с телеги.

О шраме на лице сына мать не проронила ни слова. Не хотела смотреть, боясь, что заметит Серега, но глаза сами украдкой скользили по этой розовой бороздке, и она потихоньку вздыхала. Потом спросила:

— Почему же вы Петю-то не привезли?

— Не смог он поехать с нами. Хоть и выписался из больницы, но не смог.

— Ой, что же так?

— Сказал, сперва пойдет в уком, а потом видно будет.

— Знать, насовсем уж выпорхнул из нашего гнезда. Свои у него теперя стежки-дорожки, свои думки-передумки. Как хоть рука-то его?

— Рука почти совсем поправилась,— ответил за отца Серега.

— Ну, слава богу. А ты чего же, Сережа, стоишь? Иди, иди в избу. И Костю зови с собой.

VII

Утром следующего дня, когда Серега еще спал, у дома собрались уже его друзья. И, когда Серега вышел наконец, набросились на «маленького героя» всей гурьбой. Неуклюже тиская его в своих объятиях, хлопали по спине, по плечам, выказывая всячески свое неподдельное восхищение, поглядывая на друга с откровенной завистью: некоторым не терпелось дотронуться до Серегиного шрама, но Серега перехватывал руку любопытного и отводил от лица: он теперь гордился этим шрамом как боевым орденом.

Детвора поразилась еще больше, когда Серега вынес из дому целую охапку книг с красивыми картинками. Ребята окружили счастливого обладателя этого неслыханного богатства плотным кругом и стали рассматривать книги. А Серега рассказывал им о дяде Пете и о других, с которыми лежал в палате, о телефоне и электричестве, которые непременно появятся в их селе. Ребята были в крайнем удивлении.

— А откель ты узнал про все это? — спросила Серегу беленькая, как ромашка, Лиза.

— А ты что, не веришь? — вступился за товарища Костя.— Серега врать не станет. Во-о-он сколько в городе жил!

В это как раз время мимо ребят проходила сельская учительница Ефросинья Матвеевна Макарова. У нее своя забота: скоро занятия, но пока что не хватало учеников. Потому-то и ходит сейчас учительница из дома в дом со своей тетрадкой, занося в нее фамилии будущих первоклассников.

Мальчишек, хоть и не с большой охотой, родители все-таки отдавали в школу, а вот относительно девочек имели свои понятия. «Зачем им грамота? — говорили матери.— Прясть и ткать мы их и сами научим». Еще чаще можно было услышать такое: «Школа? Да разве она для нас? Ни одеть, ни обуть ребят не во что!» Или еще хуже было выслушивать: «Мы вот жизнь, слава богу, прожили без вашей грамоты. И ничего. И дети наши, бог даст, обойдутся. Не всем, чай, комиссарами да писарями быть. Кому-то надо и хлеб сеять да всех вас, грамотеев, кормить!»

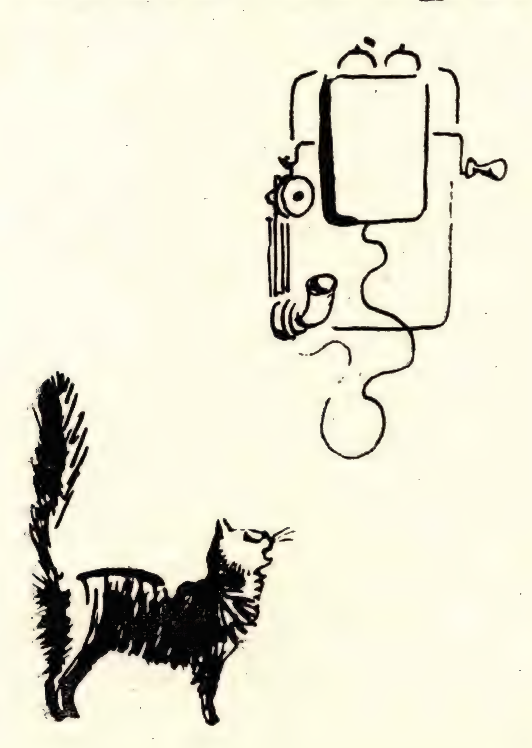
Поэтому Ефросинья Матвеевна очень обрадовалась, увидав ребятишек, склонившихся над Серегиными книга-

ми и поправляя очки, тихо, чтобы не спугнуть детвору, прошла в избу Маркиных.

Через неделю Серега вышел из дома в новеньких лапотках, и онучи, и оборки к ним тоже были новые. Через плечо перекинута синяя холщовая сумка. Серега первый раз в жизни направлялся в школу, которая стояла возле церкви. Рядом с ним, так же празднично сияя, важно вышагивали Ярыгин Костя, Вентелев Ерма, Ведякин Петярка, Лиза — его друзья детства, для которых теперь широко распахнулись двери школы.



часть вторая



ГЛАВА ПЕРВАЯ

I

Люди давно позабыли вкус хлеба из настоящей муки. Теперь они по большей части ели нечто похожее на лепешки, выпеченные из перемолотых лебеды, картофельной шелухи, ботвы и других трав. У людей потрескались губы, распухли лица, руки и ноги.

Ни у плетней, ни в оврагах, канавах и лощинах не отыщешь крапивинки, из лесов и лугов исчез щавель, пропали вовсе анис-трава, козлецы, борчовка, дягили. На деревьях и под кровлями домов и хлевов разорены птичьи гнезда, словно ветром, унесло куда-то голубей и грачей — их съели люди, как и все названные травы, чтобы не помереть с голоду. В селах не услышишь собачьего лая. Разве что от подворьев богатых нет-нет да раздастся свирепый рык цепного пса, ревностно охраняющего хозяйское добро от голодного взгляда нищего люда, полчищами разбредшегося по всем окрестным весям и городам.

В Сивеньках что ни день, то новость: там снесли замок и вломились в амбар, тут очистили погреб или поснимали ночью с насеста последних курешек. Люди, у которых хоть что-нибудь было из съестного, не спали целыми ночами. Воры, как правило, были ловки и не попадались. Но коль попался, ведут через всю улицу и колошматят чем попадя. Ни один еще из пойманных не доходил живым до конца улицы...

За два страшных голодных года Константин Павлович сильно постарел, его трудно было узнать: глаза провалились, щеки вдавились, так, что, казалось, одна доставала другую, глубокие морщины избороздили все лицо. Борода из темной сделалась рыже-белой. Высохшие руки стали вроде бы длиннее и висели, как плети.

Осенью прошлого года Константин Павлович все-таки посеял озимые: за семена пришлось согнать со двора телку. До самой зимы, до снегов, все ходил на поле смотреть зеленя, а весною освободил их от крупных сорняков и теперь с нетерпением ждал, когда рожь начнет выбрасывать колосья, когда зацветет и наконец нальется...

И рожь налилась — после двухгодичного неурожая она налилась небывало крупным зерном и теперь начала

уже золотиться. Конечно, надо бы погодить еще с недельку, когда она поспела бы вполне, но где взять силы на эту, самую тяжкую неделю?! И Константин Павлович не выдержал. Вчера, после обеда, он вновь приходил на свой загон. Глянул вокруг — и радость неописуемая захлестнула сердце: отовсюду ему кланялись тяжелые колосья, они шептались о чем-то, щекотали руки хозяина колючими усиками, словно бы хотели ему сказать: посмотри-ка хорошенько, вот какие мы! Константин Павлович широко раздвинул руки, будто хотел взять в охапку весь загон, подтянуть все колоски к своей груди и дышать, дышать на них, чтобы поскорее созревали. Но у природы свои законы и свой срок. Только ждать этого срока у сеятеля уже не было никакой мочи...

И вот он ходит по меже, срывая колосок за колоском из тех, что покрупнее. Срывает и бросает в мешок, который держит в левой руке. Истощенные руки быстро ослабли, немощно дрожали. Дрожали от слабости, но, пожалуй, еще больше оттого, что, коснувшийся колосьев до срока, сеятель и на своем загоне чувствовал себя вором. «Что скажут люди, ежели увидят сейчас меня? Подумают еще, что чужие колосья обрываю... Кто же будет губить свое?!» Оттого-то он и подымает так часто голову и глядит с опаской вокруг. Но, слава богу, никого на поле не было, и он мог продолжать свое дело.

Когда мешок был набит колосьями до отказа, Константин Павлович выпрямился, в последний раз посмотрел на свой загон и собрался домой. Вместе с Прасковьей Карповной из просушенных в печи колосьев вышелушили до последней зернинки, провеяли горсть за горстью, пересыпая зерно из ладони в ладонь, смололи на самодельных жерновах, на которых до этого перемалывали лебеду и картофельную ботву. Перед тем как засыпать в них настоящее жито, Константин Павлович разобрал жернова, тщательно выскреб разный мусор, чтобы в муке не было никакой примеси. Осмотрев хорошенько собранную вновь мельничку, осторожно высыпал в конусообразное отверстие первую звонкую горсть. Взявшись за рукоятку и, посветлев лицом, начал вращать верхний жернов. Через минуту по отведенному от мельнички желобку потекла сперва очень робкая, затем все густеющая струйка пахучей ржаной муки.

Она была мягкой и теплой, та молодая, но ни с чем на свете не сравнимая мука. Константин Павлович ворова-

то глянул вокруг, взял щепотку муки, сперва понюхал, затем торопливо отправил в рот, почмокал губами — глаза его влажно заблестели.

Зерно смолото. Пришла Прасковья Карповна, подмела муку заячьей лапкой в большое блюдо и сейчас же затеяла тесто.

Константин Павлович вышел быстро во двор и нарубил дров — выбрал самые лучшие, сухие, дубовые. Принес из колодца два ведра воды и стал возиться у ворот, будто чем-то занят, а на самом деле ни о чем другом не думал, как только о том, чтобы жена поскорее испекла хлеб.

II

Печь в тот день затопили не в обычное время, рано поутру, а в обед. Прасковья Карповна разожгла дрова и теперь ходила по избе, точно тень. Вот она тихо присела на скамью и глянула на свои руки. Они покрыты сухой, сморщенной, словно отделившейся от костей кожей, под которыми синими нитками проступали жилы. Из-под платка выбились пряди седых волос. Лицо, прежде миловидное, сейчас заострилось, губы и щеки провалились, нос удлинился, на щеках вместо добрых ямочек высунулись острые углы скул.

Прасковья Карповна будто и торопилась, стараясь делать все как надо, будто и радовалась тому, что сейчас делала, но по избе передвигалась, точно по сухому песку: пытается шагнуть вперед, а ноги сами собой как бы тащат ее назад, либо удерживают на месте. Хозяйка то и дело поднимает передник к лицу, и кто ее знает: пот вытирает она или слезы?..

Печь почти истопилась. Оставшиеся небольшие головешки уже не прибавляли жару, и потому Прасковья Карповна выгребла их кочергой на шесток, обстукала хорошенько и побросала в лохань. Головешки недовольно зашипели в воде, окинулись едким дымом. Излишек красных от накала углей также выгребла с пода печи — теперь они были по правую и левую стороны шестка и медленно остывали. Отдохнула немного и сама печь перед главной своей работой.

Исполнив это привычное для нее дело, Прасковья Карповна сильно притомилась. Снова присела на краешек

скамьи, вытерла передником руки. Выждав минуту, опять приблизилась к печке. Теперь она достала из-за пригрубка деревянную лопату, хорошенько протерла тряпкой и покрыла тонким слоем отрубей. Руки женщины дрожали немного, будто она боялась, что не справится с делом, с которым просто и незаметно справлялась всю жизнь. Но вот ее вздрагивающие пальцы потянулись к тесту, белым лебедем сидящему на столе. Подняла осторожно, перекинула с одной ладони на другую, положила на лопату, ошлепала, оправила со всех сторон, перекрестилась и, просунув лопату в широко распахнутый и дышащий жаром зев печки, ловко стряхнула на раскаленный под. Когда таким же образом отправила и второй хлебец, закрыла печь заслонкой, прошлась несколько раз взад-вперед по избе и опять присела. Опершись локтями о колени, положила голову на ладони и долго глядела в пол, будто что-то высматривала в щели меж половиц. Сморенная усталостью, она было задремала, но сейчас же очнулась и быстро поднялась: «Господи, уж не проспала ли? Сожгу хлебы-то, батюшки мои родные!» — Прасковья Карповна отбросила заслонку и посмотрела на хлебы. Нет, слава богу, целехоньки. Но еще не готовые. Поставив заслонку, принялась хлопотать у стола. Вытерла его тщательно мочалкой, покрыла столешником, посреди — поставила солонку,— так она обычно готовилась только к большому празднику. И опять притомилась, и снова присела отдохнуть. Руки ее теперь лежали на острых коленях, высохшие, все в синих прожилках.

Руки... Усталые руки немолодой женщины. Лежат они сейчас неподвижно на таких же сухоньких коленях и не могут сказать, сколько дел переделали на своем веку. Они познакомились с серпом и цепом, с топором и лопатой, со стиральным корытом и мотыгой, с ухватом и кочергой, что стоят сейчас в углу возле печи,— да есть ли на селе дела, с какими не были знакомы эти руки?! И эти синие жилки, опутавшие их, точно паутиной, не есть ли они свидетели немыслимого числа дел, переделанных руками крестьянки?!.

Глядит на них Прасковья Карповна и думает: «А вот тут две жилки в одну слились. Знать, вместе им немного полегче. И мне с моим стариком чуток легче было голод одолеть. И во всем, должно, так-то: коли вместе, сообща, оно не так тяжко. Недаром же говорится в народе: на миру и смерть красна. Спасибо Зубкову. Выручил

многих, от голодной смерти спас: кому пудик хлеба из общественного магазина, кому — еще что-нибудь. И Ефросинье Матвеевне, учительнице, спасибо: для детишек столовую организовала. Сережке нашему то кусочек калачика или булочки, то ложка фасолевого супа, а то и сахарку кусочек с чашкой кофия перепадет. Так же и другим детишкам. Вот и поддерживала, тянула их до нового хлеба...»

Вспоминая все это, Прасковья Карповна даже про хлебы забыла и встрепенулась лишь тогда, когда по комнате распространился их теплый, чуть душноватый, знойный и ни с чем не сравнимый дух. Открыв заслонку, увидала: лежат, словно слитки золота. Вытащив один, дотронулась кончиком носа, убедилась: готов. Поспешно вытащила другой. Окатила их холодной водой, положила рядышком на судной лавке, накрыла полотенцем, чтоб «отдохнули», отошли, чтоб стали еще пышнее. Надо бы подержать их так подольше, да сил не хватило: взяла один и поставила на большой обеденный стол рядом с солонкой. Долго крестилась перед образами, шепча «Отче наш». Покончив с молитвой, оглядела избу: полной радости все-таки не было, потому что и муж ее и сын где-то запропастились. «Ох, господи,— вздохнула Прасковья Карповна,— и куда они подевались? Пойду покличу»,— и она вышла во двор сперва, а затем и за ворота. И сейчас же увидела сына, который бежал к дому по пыльной дороге. Добежав до матери, остановился и сунул за пазуху расстегнутой своей рубахи темную от загара руку.

— Мам, я тебе чего принес! — воскликнул он и вытащил половинку булки.— Суп я сам выхлебал. С фасолинками он и без хлеба скусный. А это тебе — ты ведь, поди, тоже поесть хочешь. Целый день простоял в очереди и дождался. На, мам, чего же ты?

Но Прасковья Карповна вроде бы и не слышала его. Только крепко-крепко прижала его голову к своей груди.

— Спаси тебя Христос, касатик мой родной. Кормилец золотой. Ты ведь не знаешь, что теперь и у нас есть свои булочки. Пойдем-ка поскорее в избу — что покажу. А где же отец? Ты не видал его?

— Не, мам, не видел,— сказал Серега и, немного разочарованный, все еще продолжал протягивать матери половинку булки.

Во дворе они увидели Константина Павловича, и все вместе поднялись по ступенькам крыльца. Не успел хозяин войти в избу, как в нос ему ударил упоительно-вкусный, начавший уж забываться запах только что испеченного хлеба. А сама изба была полна этого дурманящего, пьянящего запаха. Константин Павлович почувствовал головокружение.

— Садитесь, садитесь же поскорее! — говорила хозяйка так, словно перед ней были долгожданные гости.— Поспели, хорошо испеклись и давно уж ждут вас,— говорила, а сама смахивала уголком платка навернувшиеся ненароком слезы.

Как ни хотелось Константину Павловичу сейчас же наброситься на это пахучее чудо, но все-таки превозмог себя — подошел к рукомойнику, вымыл над лоханью руки, вытер их досуха чистым холщовым утиральником и только потом сел к столу, с краю, на привычном своем месте. То же самое сделал и Серега.

Перед затуманенным взором хозяина вдруг объявились черные, зеленые, красные круги. Ничего не видя, он ощупью отыскал нож, затем хлеб, кончиком ножа, как водится, но, по-прежнему ничего не видя, перекрестил его и, прижав к груди, отвалил горбушку. Собрал двумя пальцами хлебные крошки и кинул их в рот. Скулы его задергались. Опершись локтями о стол и прижмурившись, он долго прожевывал эти крошки. Что они видели, эти невидящие глаза, в такую минуту?

Может, как это нередко бывает, перед ним пробежало его прошлое? Может, он видел сейчас прежние голодные годы — ой какими частыми гостями были они в крестьянских домах?! Может, видит, как идет по колено в воде по-над берегом Медведицы и вытаскивает из нор крупных черных раков, клешни которых похожи на коровьи копыта? Не одни Маркины спасались так от голода, все шло в еду. Даже ежи — и с тех сдирали кожу вместе с колючими шипами. Голод заставит...

Константин Павлович медленно открыл глаза: перед ним лежал, розовея румяной коркой, хлеб и еще чуть дымился там, где только что прошелся острый нож. Хозяин пошевелил губами, щеки его как-то задергались, по ним побежали слезы. Вот они уже покатились по бороде и задержались на концах волосинок прозрачными капельками, точно росинки поутру на соломенной крыше.

Серега и его мать сидели, будто каменные. Молча смотрели на главу семьи. Потом Прасковья Карповна поднялась, подошла к мужу сзади и положила руку на его плечо. Константин Павлович вздрогнул, отряхнулся как-то, словно после глубокого сна, взял хлеб и стал не спеша нарезать его ломтями.

III

А теперь заглянем в дом Василия Силыча Куштаева. На хозяине белая рубаха из холста и черная, похожая на воронье крыло, жилетка. На одной ноге — валенок без голенища, на другой — старая галоша. В широченных шароварах он смахивает на матерого, потрепанного в баталиях петуха.

Василий Силыч сидит за столом. Перед ним — конторские книги со всяческими пометками — где палочка, где галочка, где крестик, где еще какая-нибудь завитушка. Эту «бухгалтерию», вероятно, понимал лишь один он — Куштаев. Под правой рукой — счеты. Куштаев сперва заглянет в свою книгу, потом повернет голову к счетам и кривыми, жесткими пальцами отодвинет по проволоке нужное число шариков. При этом шепчет: «Пятьдесят пять... Сто семьдесят семь...» Цифры эти говорят о том, сколько зерна нынче в его сусеках и какую сумму денег выручит он от продажи хлеба. Самой малой цифрой будет отмечен заработок батраков, зато — весьма внушительной — будет прибыль, которую получит старый Куштаев от мельницы, просорушки, от процентов своих постоянных должников.

Скоро страда. У Куштаева все для нее подготовлено: жнейки-лобогрейки, гумно, молотилка. Перед самой жатвой Василий Силыч должен был еще съездить на базар — потом будет недосуг. Покончив с подсчетами, он на какое-то время задумался: «Чего бы еще выбросить на эту обжорку?» — «обжоркой» старик называл базар, на который, что бы ни привез — все купят и сейчас же сожрут. А приторговывал он тут и маслом, и мукой, и мясом, и разными крупами. Чаще всего, однако, крупы не продавал, а менял: горсть крупы — восемь кусков мыла. Поступал так же и с мясом: один фунт говядины — пять аршин материи. Сейчас он поскреб в затылке, размышляя, что же, в самом деле, отвезти завтра? Наконец

что-то обмозговал, просиял лицом и воздел большой палец к потолку:

— Капусту! Капусту, шут ее подери!

Слова эти достигли уха невестки, и перед свекором сейчас же было поставлено блюдо прокисшей капусты.

— Ты что, смеяться над стариком? — взвыл Кущтаев.— С ума спятила?

— Да ты ведь, тять, капусты просил... Я и сама вижу — нельзя ее есть, но ты...— оправдывалась невестка.

— Убери эту... эту тухлятину отседова. Ну, живо! Завтра кадушки две-три на обжорку отправим!

— Куда? — не поняла молодая женщина.

— Эк-ка, бестолочь! Ну, на базар. Сожрут. Городские, что бирюки голодные,— все подметут. Много, что ли, осталось у нас этой капусты?

— Да есть, только она, тять, того...

— Не твоего ума дело! Вытащите с Митей две кадушки. Не пропадать же добру!

IV

Узнав о завтрашней поездке на базар, Серега вышел после ужина к воротам и до позднего вечера помогал отцу в сборах. Отец уже обещался взять поутру сына с собой. Серега, чтобы не проспать, лег рядом с отцом. И вот теперь все его волнения уже позади: Серега на возу дров едет в Кедровск. Той же дорогой, мимо тех же поющих столбов и проводов. Мать нарядила его, как могла. На ногах у Сереги дяди Петины сапоги, которые тот носил еще в молодости. Серега с вечера густо намазал их чистым дегтем, и на них теперь играли лучи восходящего солнца. На голове дяди Петин, оставшийся от солдатчины, форменный картуз. Его все время надо было поправлять, потому что он то и дело опускался Сереге на нос и закрывал глаза. Наряд дополняли темно-синие холщовые портки и тоже холщовая, белая рубаха — такие надевают лишь по большим праздникам, а Серегу принарядили в будний день. В какое-то время на прохладной зорьке мальчишка кутался в мамкину шубейку, ну а как только выглянуло солнышко, он сбросил ее и теперь выглядел маленьким женишком.

Серега сидит на возу и посматривает на свои сапоги: «Ну, как же они блестят и как славно пахнут!» Маль-

чику кажется, что таких сапог ни у кого на свете нету, не то что у проезжающих по этой дороге мужиков, но и горожан: где бы они могли взять такие!..

Занятый своими честолюбивыми думами, Серега не замечал ни утренней свежести, ни того, как по большаку катились другие возки, как шагали пешие. И лишь тогда, когда миновали Таузу и поднялись на гору, он оставил в покое свои несравненные сапоги. В синей утренней дымке, там, далеко под горою, подступали очертания города. Сперва показалась голова одной церкви, затем другой, третьей. Золото их многочисленных куполов ослепительно вспыхнуло под солнцем. А вон и каланча — она еще выше церквей, только кажется издали тонюсенькой, будто длинная палка. А вон еще элеватор, похожий отсюда на большую пегую лошадь.

До Серегиных ушей уже докатывался колокольный звон. Сперва звонили на одной церкви. Потом загудели колокола других церквей. Звон их соединился, смешался, и Сереге уже трудно было разобраться, где и какой звонит колокол. Скоро их телега уже катилась по городу, и колокольный звон влился в общий шум города.

По дороге Константин Павлович прикидывал: на базар вести дрова или к Петру Андреевичу. Последнее письмо тот прислал уже не из Кутьина, где после выхода из больницы работал секретарем укома партии, а из Кедровска, куда недавно направил его губком. «Может, у него нет дровишек на истопку? Но ведь я хотел выручить немного деньжат — косу не на что купить, а она нужна до зарезу... Ладно, потом наведаюсь к нему, узнав, нужны ли дрова, а в другой раз привезу». Собственная нуждишка оказалась сильней, и Константин Павлович направил гнедуху в сторону базаров.

Дровяной ряд оказался на базаре длинным. Маркиным пришлось подождать, когда освободится в нем место для его телеги. Напротив стояли подводы с картошкой, капустой и иной снедью. В этом-то ряду и приткнулся со своими кадушками старый Куштаев.

С непривычки Сереге было трудно разобраться во всей этой базарной канители: тут и там орут, а о чем — не поймешь. У одного на руках мешок, у другого — старая поддевка. Люди снуют туда-сюда, торгуются, прицениваются, одни изо всех сил расхваливают свой товар, чтобы поднять цену, другие, так же изо всех сил, хулят его, чтобы купить подешевле. Один мужичонка показыва-

ет всем женскую широкополую шляпу и кричит на весь базар: «Шляпа графини! Кому шляпу графини! Меняю на осьмушку табаку!» Рядом с ним худая женщина меняет старые мужские сапоги на кусок хлеба.

Серега и туда глянет, и сюда — даже шея устала! — но все равно за всем ему не углядеть, всего не увидишь и не услышишь. Городские ребятишки, проворные, как мыши, шныряют промеж взрослых. Одни, протягивая худые ручонки, просят что-то «христа ради», другие высматривают, не зазевался ли кто из торгующих, чтобы поживиться от чужого добра.

Среди этого человеческого «муравейника» Серега вскоре приметил старика Куштаева. Он дернул отца за рукав:

— Папанька, глянь, ведь это ж Куштай размахивает там руками.

— Он, он, Серега. Капусту продает...— Константин Павлович хотел что-то еще сказать, но его прервал покупатель, который спрашивал, на что бы хозяин согласился поменять дрова.

— Мне нужна коса, смолянка и аршина два миликсина,— ответил Маркин-старший.

Он назвал сразу все, потому что хотел покончить с этим делом и поехать домой. Серега, напротив, хотел побыть тут подоле. Ему, например, очень нравилось, как Куштаев размахивает руками, как крутится возле своей телеги, приманивая покупателей. Серега даже влез на дрова, чтобы все хорошенько видеть.

Вот старик поменял на что-то одно, потом второе блюдо капусты. Около его телеги собралось много женщин. Серега смотрит и удивляется, как ловко получается все у Куштаева, как бойко он торгует.

— Давай одну кадушку целиком. Мешок денег вручу! — предложил один Куштаеву.

Тот осклабился:

— На кой ляд мне твои деньги! Разве что избу оклеить ими?.. Сымай вон с себя поддевку и делу конец: бери тогда капусту!

— А вот этого не хочешь? — Мужчина поднес к Куштаеву носу кукиш.

«Вот чудак пустоголовый! — рассуждал про себя Серега. — Ему дают мешок денег, а он отказывается».

Тем временем Куштаев опять зацепил из своей кадки ковш капусты и вывалил в блюдо какой-то изможденной

женщине. Взамен она отдала старику кисейный платок, затем хотела было попробовать капусту, поднесла щепоть ко рту, но сейчас же бросила на землю: гнилостный запах ударил в ноздри. Женщина закричала истошным голосом:

— Это чем же ты торгуешь, ирод?.. Люди! Народ честной! Гляньте, что он нам продает!.. Гнилую вонючую капусту привез на базар!..

К женщине один за другим подходили горожане и, нюхнув ее покупку, долго отплевывались. Возле телеги Куштаева начал скапливаться народ. Под палящим солнцем капуста в кадушках уже закипала, пузырилась и смердила еще сильней. Куштаев поворачивался то в одну, то в другую сторону и отбрехивался, как только мог, от сыпавшейся на него отовсюду яростной ругани. Серега размахивал руками: «Так, так его!»

В толпу не вошел, а прямо-таки врезался пьяный мужичище, держа под мышкой саратовскую гармошку. Серега выжидательно притих: этот, пожалуй, может и ребра пересчитать...

Пьяный широким, решительным жестом раздвинул толпу и оказался перед Куштаевым.

— Ну-кась, покажи, что у тебя тут, православный?

— Нашел православного! На нем и креста, поди, нету! Басурман какой-то! — завопила опять тощая женщина. — Глянь, чем он потчивает людей?.. Последний платок ему отдала, анчихристу!.. На, подавись ею! — Женщина размахнулась и выплеснула вонючую жижу в лицо Куштаеву, ловко выдернув из его кармана свой платок.

Серега ликовал. Он даже соскочил с телеги и, подпрыгивая и хохоча, кричал:

— Так, так его! Опрокиньте на голову Куштая всю кадушку! Пускай знает, как обманывать людей!.. Пап, глянь-кось, как разделали нашего шабра!

Константину Павловичу было недосуг: к его телеге все время подходили покупатели, прицenивались к дровам. Но все-таки он не утерпел, глянул в сторону соседа.

На козлиной бородке Куштаева висели капустные крошки, по лицу и рубахе стекал ядовитый рассол. Он вытирал рукавом лицо, стряхивал жижу с рубахи и орал что есть мочи:

— Вы что, взбесились?! За такое... самое... в кутузку сажают!.. Я вам силком, что ли, ее навязываю?.. Хочешь — покупай, хочешь — нет.

Пьяный не слушал Куштаева. Наклонившись над кадушкой, зачерпнул горсть капусты и начал деловито ее рассматривать.

— Ты что же это, сельская контра, издеваться вздумал над мировым пролетариатом? — зарычал мужичище. — Да еще кутузкой угрожать?

Привлеченный криками, к толпе подошел милиционер.

— Что тут происходит?

Горожане еще пуще зашумели, некоторые кинулись на Куштаева с кулаками, но милиционер оглушительно свистнул, и все затихли. Куштаев сейчас же начал жаловаться милиционеру:

— Рта не дадут раскрыть, гражданин начальник!.. Я, милок, им капустки привез, а они...

— Погодь, погодь! Сам разберусь. Ну-ка покажи, с каким товаром заявился на базар? — с этим вопросом милиционер подошел к телеге. Заглянул в одну кадушку и тут же отпрянул, будто кто-то невидимый ударил его по носу. — За такой «товар», знаешь, что тебе полагается?.. Не знаешь?.. Ну, хорошо. Шагай за мной в милицию, там мы тебе все разъясним...

Куштаев хотел что-то сказать, может быть, даже поспорить с самим милиционером, но тот так грозно ворохнул глазами, что старик скорехонько взял лошадь под уздцы и вывел из базарного ряда.

Удовлетворившись таким исходом дела, покупатели стали расходиться. Пьяный поднял к самому уху свою саратовскую, крикнул:

— А ну, кому гармошку? Саратовскую, с колокольчиками! Играет так, что ноги сами просятся в пляс. За бутылку отдам! И-ех! — и, растянув мехи, покинул базарную площадь.

— Все! Забрали! — сообщил Серега отцу.

— Кого? Куда?

— Куштая! Вместе с кадушками — прямо в милицию!

V

Простояв в дровяном ряду до обеда, Константин Павлович так и не нашел нужной замены своему товару. Усталый, раздосадованный, он выехал на прилегающую к базару улицу и направился к Петру Андреевичу Камакшеву. Рыночный гвалт остался позади.

Камакшев жил поблизости. Маркины открыли скрипучие, старенькие ворота и въехали во двор. Услышав скрип ворот и постукивание колес, Петр Андреевич вышел из дома, а через миг он уже сбегал с крыльца, радостно приветствуя Маркиных:

— Константин Павлович! Серега! Вот это встреча!.. Люба! — позвал он. — Выходи скорее, посмотри, кто к нам приехал! — и уже к Маркину-старшему: — Ну, шумбрачи [1], дядя Костя! — Камакшев хотел обнять Константина Павловича, но, спохватившись, протянул лишь одну руку, а вместо другой трепыхнулся пустой рукав.

— Шумбрат, Петя, шумбрат! Спасибо, что сообщил нам свой адрес, а то бы и не нашли тебя. А ты, вижу, не совсем шумбрат [2]. Где рука-то?

— Об этом, дядя Костя, потом. Серега, ну а ты-то как? О-о-о! Ты, брат, подрос. Молодец! — Камакшев немного пригнулся и поцеловал Серегу. — Ну, орел да и только!

Серегины сапоги теперь уже не блестели — покрылись толстым слоем пыли, и мальчишке нечем было блеснуть перед приемным братом. И стеснялся немного, потому и стоял молча, потупившись.

Из дома вышла молодая женщина, вытирая фартуком руки.

Петр Андреевич улыбнулся:

— Теперь и я не один живу. Кончилась моя холостяцкая жизнь. Знакомьтесь: Люба, моя жена.

Люба немного смутилась, поздоровалась с приезжими.

Петр Андреевич заторопился:

— Чего же мы тут стоим? А ну, марш в избу!.. Люба, это вот тот самый Сережка, мой братишка, о котором я тебе рассказывал! А это — его отец, Константин Павлович.

— Знаю, знаю, ты мне про них уже рассказывал, — сказала Люба и стала приглашать гостей в избу. — Сережа, а ты почему опустил голову?.. Константин Павлович, проходите же! — говорила Люба, а сама так и светилась от радости.

— Погодите. Сначала надо дрова выгрузить, — ска-

---

[1] Шумбрачи — здоровья доброго, здравствуй.
[2] Не совсем шумбрат — не совсем здоров.

зал Константин Павлович и начал складывать лесины у глухой стены дома.

Когда вошли в избу и сели за стол, Петр Андреевич спросил:

— Ну, как живем-то, дядя Костя? Одолели голодовку?

— Как тебе сказать? Едва-едва уползли от смерти. И сами выжили, и лошадку твою сберегли, а это главное. Не нынче-завтра — уборка. Хлеба нонешний год выдались на славу. Ну, а как ты-то, Петя? Кому подарил руку-то свою? Чего ж ты молчишь?

— Рука, дядя Костя, осталась в больнице. Когда первый раз выписался, вроде ничего была, работала даже. А зимой, похоже, застудил — морозы-то вон какие были! — заныла, стала чернеть. Пришлось опять лечь в больницу — и вот...

— Почему же не написал нам про то?

— А вы что, взамен новую руку бы мне выслали? — горько улыбнулся Петр Андреевич. — Расстраивать вас лишний раз. Мало вы со мной помаялись!

— Где сейчас работаешь?

— Недавно избрали здешние коммунисты секретарем укома.

— Выходит, мы все теперь в одном уезде.

— Выходит, так.

— Трудно, поди, Петро?

— Да нелегко. А кому сейчас нетрудно! Ленину, пожалуй, потруднее нашего приходится, да не жалуется. Да и всей партии нашей нелегко. Что там у вас, в селе? Как ведут себя кулаки?

За самоваром время шло незаметно. Мужчины вспомнили прошлое, заглянули, как могли, и в день завтрашний. Секретарь укома больше всего интересовался тем, в чем сейчас особенно нуждаются хлеборобы, в первую очередь расспрашивал о бедняках.

Серега все это время молчал, но слушал очень внимательно. И только когда отец поднялся из-за стола, мальчишка подал свой голос:

— Дядь Петь, а у вас есть телефон?

Петр Андреевич взглянул на него с удивлением:

— Телефон?.. Есть, Серега, есть! С кем это ты собрался разговаривать по телефону?

— Ни с кем. Я не умею. Мне бы только послушать, как другие разговаривают.

— Ах, вон оно как. Ну что ж, тогда пойдем.

Они вошли в другую комнату. Там, в простенке, висела продолговатая коробка с какой-то странной рукояткой. Поверх коробки, справа и слева, торчали железные рожки, а на этих рожках лежало нечто, похожее на ковшик. Петр Андреевич крутнул раза два ручку, потом взял ковшик и, прислонив его к уху, стал слушать. «Алло, алло! — закричал он вдруг в один конец ковшика. — Уком? Я скоро буду. Да, да, Камакшев!»

Петр Андреевич присел на табуретку, чтобы Сереге тоже было слышно. Но до него доносилось из ковшика лишь какое-то бормотанье, бульканье. Слушал, однако, Серега с широко раскрытым ртом.

Петр Андреевич отвел немного от уха ковшик, обратился к Сереге:

— Будешь говорить? Бери трубку. Уком тебя слушает.

— Я не умею... Я боюсь...

Серега покраснел, отчаянно замахал руками и даже попятился от телефона. Позже, вернувшись в родные Сиvеньки, он страшно жалел, что отказался: мог ведь хотя бы одно слово сказать в тот мудреный ковшик, не оторвали бы ему ухо или язык!

Когда Петр Андреевич положил ковшик на железные рожки, Серега воскликнул с придыханием:

— Эх, вот это да! Это телефон называется, да, дядь Петь?

— Да, Серега. Это и есть телефон.

— А электричество у вас есть? — спросил Серега, припомнив давнишний разговор с отцом.

— Есть и электричество. Ну-ка, смотри! — и Петр Андреевич подошел к стене, нажал пальцем на какую-то пуговку. Пуговка щелкнула, и тут же загорелась лампочка, которая висела под потолком и была прикрыта синей, с кисточками, материей. Когда она вспыхнула, Серега даже вздрогнул и опять покраснел до слез.

— Вай! Это как же она горит без керосина? Пустой пузырек, а вон как светит!

— Об этом долго рассказывать, Серега. Вот вырастешь, выучишься и узнаешь про все сам.

— Дядь Петь, а в Сивеньках будут телефон и электричество?

— Вон ты куда метишь? — Петр Андреевич повернул мальчика лицом к себе, долго смотрел на него. — Моло-

дец, Серега! Хорошо, что думаешь об этом. Будет у вас и телефон, и электричество — все будет. Только, брат, не сразу. Подождать придется. Да, забыл, брат, совсем: ты учишься?

— Ага, учусь.

— В каком классе?

— В третий перешел. В голодный год не ходил — школа не работала. Зря пропала зима...

— Да, брат, многое тогда пропало. Да что поделаешь, — тихо сказал Петр Андреевич, еще раз похвалил: — Молодец, учись. Это очень пригодится тебе.

Во дворе Камакшев широко улыбнулся и спросил у Маркина-старшего, хлопотавшего возле лошади:

— Сколько тебе за дрова-то, товарищ Маркин? Миллион или два миллиона?

— На эти твои миллионы и полена не купишь, — отшутился тот.

— Не тужи, дядя Костя. Так долго продолжаться не может. Партия, Ленин думают об этом.

Маркины распрощались с Петром Андреевичем и его женой, пригласили их к себе в гости и выехали за ворота.

VI

В тот момент, когда Константин Павлович направлялся к Камакшеву, Куштаев в сопровождении милиционера шествовал сперва по главной улице, потом по железному мосту через Медведицу прямехонько в милицию.

«Куда же он теперь меня? — идя рядом с телегой, размышлял старик. — Чай, не сразу в острог? Вот влип, пропади она пропадом, эта капуста! Люди будут хлеба жать, а я сухариков ждать. А что если вскочить сейчас на телегу, огреть лошадь кнутом да удрать от этого галаха?.. Нет, не удерешь. Поймают — еще больше припаяют, знаю я их... Может, взятку сунуть этому босяку? Черт его душу знает, как он поглядит на такое, как бы не взъярился еще пуще... Да и то сказать: человек же он, и у него, чай, есть дети и жрать просят. Суну золотой, возьмет — хорошо, не возьмет — свидетелев нету, а без свидетелев хрен меня обвинишь, так-то! Будь что будет!» — Куштаев просительно заговорил:

— Э-э-э! Как, бишь, тебя величать-то?.. Гражданин товарищ, послухай-ка. У тебя, милок, детишки есть?

— Есть, и очень даже много: целых пять. Только тебе-то зачем знать про них?

— Не прими в обиду, товарищ гражданин... Я, милок, того... гостинчик для них припас... вот он, золотой...

— Это еще что?

— Ну, тогда еще четыре прибавлю, чтобы каждому по золотому, — заторопился Куштаев, думая про себя: «Жаден, пес!»

— Ага, взяточку, значит? Купить решил меня?

— Какая взятка, товарищ гражданин! Для детишек же, любы они мне. А деньжонки-то пригодятся — на еду там, на одежонку! — говорил Куштаев, думая про себя: «Очень уж мне нужны твои щенки. Для меня они хоть в один день все подохни!»

— Ну, довольно. Покалякал и будя. Заворачивай-ка вот сюда — приехали. Тут разберутся во всех твоих делах. И про капусту тебе скажут, и про взятку.

«Пропал, — скудея духом, подумал Куштаев, въезжая на милицейский двор. — Один раз выбрался отседова, во второй, пожалуй, не удастся. А если к нынешним делам присобачат вчерашние, тогда уж пиши пропало. А милиция в тот раз помещалась в другом месте. А что из того! Помещения меняются, а порядки остаются прежними. Да и этот кривоногий... не то, что Пронькаев Кузя... этого на взятку не подцепишь!»

Рассуждая таким образом, Куштаев постепенно набрел мыслью на Капитанова Гаву. От кого-то старик слышал, что Гава будто бы работает в городе начальником милиции. «Господи! — взмолился про себя Куштаев. — Вот если бы так! Тогда я спасен».

В кабинет начальника милиционер сперва зашел один, коротко доложил, кого и за какие дела привел. При этом не забыл сообщить и о взятке.

— Ведите, — коротко распорядился начальник.

Милиционер вышел из кабинета и сказал Куштаеву:

— Заходи. Сам начальник с тобой будет говорить.

Куштаев, сотворив про себя молитву, вошел: перед ним сидел за столом незнакомый, бритоголовый человек в очках. Под носом — аккуратно подстриженные усики. Начальник между тем хорошо знал, кто вошел в его кабинет. А Куштаев? Страх, который охватил его в первую минуту, не помешал, однако, всегдашнему правилу старика: помолчи, подожди, дай высказаться сперва другим, потом уж сам...

Гава в конце концов понял, что Куштаев не узнал его. Заговорил:

— Ну-с, так и будем молчать?

Можно до неузнаваемости изменить лицо, но труднее изменить голос. Он у Гавы не утратил всегдашней, характерной гнусавинки, а это «ну-с» мог так произнести только Капитанов и никто больше. Короче говоря: старый Куштаев воспрянул духом.

— Ге-ге-ге... Кхе-кхе... того, товарищ гражданин начальник... Прости, милок, не могу взять в разум, как уж тебя и величать теперь... — от великой радости бельмо в Куштаевом глазу отчаянно запрыгало. — Гаврила Егорыч, ты ли это, милок? Ангел-спаситель!.. Господи!..

— Совсем, знать, старым стал, Василий Силыч. Своих не узнаешь. Ну, проходи, садись вот тут и слушай.

Когда Куштаев тихонечно присел на стул у стены, Капитанов продолжал:

— Ну-с, Василий Силыч, значит, опять встретились. И, полагаю, не в самом плохом месте. Так, что ли?.. Ну, ну, помолчи. Разговаривать с тобой будем после, а теперь сиди и помалкивай — и чтоб ни звука. Если будешь орать — жаловаться — испортишь все дело.

Старик махнул картузом: делай, мол, что хочешь, только спаси, оборони мою душу грешную, я-то уж, мол, умею молчать.

Гава вызвал в кабинет милиционера — того, что привел сюда Куштаева.

— Товарищ Палькин, ты зачем привел этого гражданина? — поправляя очки, прогнусавил Капитанов.

— То есть... как зачем? — удивился милиционер. — Я же докладывал вам, товарищ начальник. Вонючую, гнилую капусту продавал этот живодер.

— Это — все? Он, что же: вор, разбойник, помещик там какой-нибудь или какой другой преступник?

— На лбу у него не написано — батрак или барин.

— Вот видишь! Ты арестовал человека за сущий пустяк. Капуста, какая бы она ни была, его собственность. Твое дело — покупать ее у него или не покупать. Разве ты не знаешь, какую сейчас политику проводит Советская власть?! Не знаешь, что такое нэп и для чего его ввел товарищ Ленин? Хорошо, разъясню тебе. Нэп — это торгуй, чем только можешь, обогащай и себя и страну — наше новое Советское государство. А ты что натворил? За во-ню-чу-ю ка-пу-сту в милицию! Ха-ха-ха!

— Это же надругательство над народом, товарищ начальник. Капуста гнилая, от нее зараза может пойти, — пытался оправдаться удивленный милиционер.

— Ты уж лучше бы помолчал, товарищ Палькин! Пора бы тебе знать, кого и за что приводят в милицию. Сына этого старика белые убили. Тебе это известно? Ну, вот. Запах капусты ты хорошо чуешь, а новую политику даже не нюхал. Иди да смотри не приводи ко мне таких вот «преступников». Ступай!

Когда милиционер скрылся за дверью, Капитанов обратился к Куштаеву:

— Я прикажу, чтобы тебя отпустили. Сам сейчас пойду обедать. Слушай внимательно, новоявленный нэпман: ты поедешь следом, только так... саженей на тридцать позади. Понял?

— Понял. Как не понять! Спаси те Христос, Гаврила Егорыч! — залепетал горячо старик.

Капитанов закрыл кабинет и приказал дежурному, чтобы тот отпустил старика с его кадушками.

— Я ушел обедать. Буду часа через два, — на ходу бросил Гава дежурному.

Следуя за Капитановым, Куштаев доехал до его дома, что стоял на широкой городской площади, напротив недостроенной церкви. Большой дом обнесен высоким забором, за домом виднелись добротные надворные постройки. На этот двор и въехал Куштаев. Уже во дворе Гава заглянул в одну из его кадушек и шарахнулся в сторону.

— Заразу продаешь, старик. Ежели б по справедливости, тебя за такой товарец надо посадить. Ты, что же, ничего другого не нашел для продажи? И везешь этакую мерзость? — говорил Гава, зажав платком кончик носа.

— Ну, как тебе сказать, милок? Добрый товар и для себя добрый. Да и продал я все лишнее давно. Осталось вот только это... Не думал, не гадал, что дело так обернется с этой проклятой капустой! Да она сделала все ж доброе дело: привела меня, старого дурня, прямо к тебе, хи-хи-хи!

— Ну-с, хватит. Федя! — позвал Гава, и из одного сарая вышел здоровенный парень с нечесаной головой. — Вон капусту купил. Выплесни ее свиньям — пускай жрут.

Отдав это распоряжение, Капитанов вместе с Куштаевым через запасную, заднюю дверь вошли в дом. В нем

было не меньше четырех комнат, но хозяин не показывал их гостю. Он усадил старика в столовой, приказав жене подавать обед. Куштаев сидел против открытой двери в горницу, но разглядеть последнюю не мог: ставни были наглухо закрыты с улицы, поэтому во всех комнатах, кроме столовой, стоял мрак.

Молодая красивая женщина, с темной родинкой на щеке и густыми бровями, молча поставила на стол бутылку водки, закуски и так же молча удалилась.

Выпили по первой. Капитанов двумя пальцами пригладил черные усики, начал своей обычной фразой:

— Ну-с, любезнейший Василий Силыч! Не скрою, я очень рад нашей встрече. Давай, докладывай, как там, на селе, как поживают старики?

— Оно, Гаврила Егорыч, вроде и докладывать-то не про что. Сейчас навроде чуток полегче стало, есть чем дышать. Продразверстку, будь она неладна, отменили. Про то ты и сам знаешь. Ввели продналог. Оно хотя бы и не так круто, но ведь недаром говорится в народе: редька горька, да и лук не мед. Все едино жмут. Известное дело, с голытьбы что возьмешь? Да ни хрена. Вот и тянут с нас, дерут последнюю шкуру — давай им хлеба, давай деньги. Беда!

— Будь моя воля, я бы с вас не так еще драл! Вы бы у меня не так заплясали! — совершенно неожиданно для гостя проговорил Гава.

— Господь с тобой, Гаврила Егорыч! Что ты говоришь! Опомнись! Разве забыл, о чем калякал с нами...

Но хозяин резко остановил старика:

— Замолчи ты, вонючий клоп! — Гава ударил по столу и встал.— Ты, похоже, забыл, с кем разговариваешь? Я — большевик и послан сюда, чтобы укреплять Советскую власть, защищать ее от таких вот, как ты, которые гнилой капустой торгуют. Тебя мало было посадить за такие дела! Но я спас тебя, козла вонючего, пожалел односельчанина. А коли еще раз попадешься, познакомишься вот с этой штукой,— Гава перекинул из одной руки в другую наган.— Скажу тебе, старик, честно: твое место давно за решеткой...

Гость сидел ни жив ни мертв.

— Что, струсил? — потешался Гава.— Не забывай, козлиная борода, что у меня в руках власть. Мне будут верить, а не тебе. Ты — классовый враг, кулак. Что, сробел? Ишь тебя как перекосило?

— У тебя, Гаврила Егорыч, сробеешь. Теперь уж и сам не знаю, куда душа спряталась, подале пяток, знать, ушла. Ты уж прости старика за глупые его слова. На колени перед тобой встану, в ножки поклонюсь, только прости. Ну и голову тебе господь бог послал, Гаврила Егорыч! Не голова — амбар золота, право слово! — льстил, как только мог, Куштаев.

Гава налил ему полный стакан, приказал:

— Ладно. Пей.

Куштаев дрожащей рукой поднял стакан, выпил до дна и сейчас же начал собираться домой. Хозяин больше не задерживал его.

Через полчаса телега Куштаева была уже за городом и катилась по большой дороге в направлении Сивеньков. За спиной старика с грохотом перекатывались две пустые кадушки.

VII

О приезде Камакшева в Кедровск Гава узнал одним из первых. Прежние товарищи еще ни разу не встречались. Гаве следовало бы самому представиться новому секретарю укома, но он все оттягивал свой визит, выжидал. А у Камакшева руки еще не доходили до милиции. Между тем Капитанов хотел, чтобы Петр Андреевич пригласил его сам. Пока что Гава мог лишь сожалеть о прежнем руководителе уездного комитета партии.

«Да, славный был малый,— думал о нем Гава,— свой в доску. Партийный билет вручил мне без всякой волокиты. И вообще хорошо мы с ним понимали друг друга. Вот беда: быстро убрали его отсюда. С ним можно было бы немалые дела делать. А теперь сиди и гадай: как поведет себя мой бывший дружок Петька Камакшев? И что за чертовщина такая: где бы ни пролегали наши с ним стежки-дорожки, а опять перекрестились? Ну-с, мне-то нечего бояться. Все, кажется, сделано, чтобы поглубже упрятать прошлое. Ну, а там видно будет...»

Камакшев в свою очередь был уже наслышан о Капитанове. Знал, конечно, и про то, что тот коммунист и работает в Кедровске начальником милиции. Ему не терпелось встретиться с Гавой, да все как-то не получалось: успел лишь познакомиться с сотрудниками укома. И только сегодня, после встречи с руководителями город-



ских организаций и учреждений, он смог наконец пригласить к себе и начальника милиции.

Что-то дрогнуло внутри у Капитанова, когда ему сказали, что вызывает секретарь укома партии.

В приемной Камакшева он еще раз поправил ремень, портупею, кобуру нагана, пригладил перед зеркалом черные усики, оглядел хорошенько всю свою ладную фигуру и только после этого вошел без стука в кабинет.

Петр Андреевич поднялся навстречу Гаве. Капитанов поначалу не узнал Камакшева. Глаз Гавы прежде всего задержался на пустом рукаве, заправленном под ремень. Нос, губы, уши у Камакшева были словно обглоданные, лицо будто побито градом. «Ничего не осталось от того Петра Камакшева, какого я знал»,— подумал Капитанов.

— О-о-о! Гаврила Егорович! Ну, шумбрачи, здравствуй! — И Камакшев протянул Гаве покореженные пальцы правой руки.

Гава пожал похожую на маленькую корягу ладонь Петра, чуть передернулся и быстро высвободил руку. Это не могло ускользнуть от Камакшева, но тот промолчал. Заговорил еще более приветливо:

— А ну-ка, ну-ка, дай тебя хорошенько разгляжу. Вон ты каков! Постарел, правда, немного, но крепок, крепок, ничего не скажешь...

— Петруха, дружище!.. Петр Андреевич!..— казалось, с радостью воскликнул Гава.— Честное слово, не узнал тебя. Господи, где же ты пропадал? Что было с тобой? Сколько же годков мы не виделись?!

— Кажись, лет шесть. За это время воды много утекло. Ну, да ладно. Проходи, садись,— они уселись в креслах друг против друга перед маленьким столиком.

— Ну, как идут дела? Рассказывай! Давно здесь работаешь? — спрашивал Камакшев.

— Второй год. Работа вроде идет неплохо. Много приходится возиться с контриками, Петр Андреевич. Кое-где и кулаки подымают голову.

— Да-а, времена неспокойные. Уши надо держать востро.

Гава невольно глянул на уши секретаря укома, внутренне ухмыльнулся: «Твои-то уши, положим, торчком не поставишь. Как засушенные опята. Кто же тебе их подпалил так?..»

Камакшев продолжал спрашивать:

— Давно ли в партии? Слыхал, ты дрался против банды Попова?

— Приходилось драться против всякой сволочи,— без особой скромности отвечал Гава,— и на фронте, и в тылу, и сейчас моя работа — все тот же фронт. Конечно, и ранен был, так же вот, как и ты, много раз.

— Помнится, в германскую войну ты, Гава, думал несколько иначе.

— Зачем, Петя, вспоминать про то. Мало ли чего взбредет в голову по молодости. Жизнь учит и перековывает и нас, и наши мозги ставит на место. Теперь не только бывшие унтера — полковники царские кладут головы свои за Советскую власть. Я прежние свои заблуждения кровью искупил, один бросился на бандитов и был ранен. А сейчас в моем кармане, у самого сердца, вот это! — Гава вынул партийный билет и протянул Камакшеву. Тот полистал его и, возвращая хозяину, сказал:

— Я не хотел тебя обидеть. К слову пришлось. Теперь нам надо работать вместе.

— Ну, это совсем другое дело! — радостно возгласил Гава.— Вот это по мне! Я думаю так, Петр Андреевич,— надо бы малость поприжать кулаков, а то они уж очень того...

— Что — того?..

— Ты тут новичок, Петр Андреевич, а я успел кое к чему присмотреться. Вот, сказать к примеру, один кулак продавал недавно на базаре гнилую капусту. Задержали мы его, припугнули как следует.

— Вы так напугаете людей, что никто не захочет торговать. А нам сейчас надо, чтобы торговали. Для чего же введен нэп!

Как ни старались бывшие друзья, откровенного разговора у них что-то не получилось. Правда, уходя, Капитанов пригласил Камакшева к себе в гости.

После того как Гава вышел из кабинета, Петр Андреевич долго думал:

«Прижать кулака... А что это значит? Это значит поднять его против Советской власти, еще молодой, неокрепшей. Это значит идти против ленинской новой экономической политики. Нет, что-то ты торопишься, товарищ начальник милиции!.. Впрочем, мало ли сейчас загибщиков! Может, и этот от лишнего усердия? Поработаем вместе — увидим. Время все прояснит».

ГЛАВА ВТОРАЯ

I

Жатва подходила к концу. Кто складывал снопы в крестцы, кто отвозил их на гумно и начинал молотить. На всех дорогах — возы со снопами, туго прижатыми гнетами. Безлошадные отвозили свой урожай на двухколесных тележках.

Полевые дороги выровнялись и высветились. Серега идет позади воза босиком — ногам приятно от горячей пыльцы. Он очень любит идти вот так, за возом, и слышать, как жалуются на что-то качающиеся туда-сюда колеса, как поскрипывают, постанывают под тяжестью наклесок люшни, как перешептываются пошевеливаемые ветерком сухие колосья. Тут никто тебе не мешает: топай себе босыми ножонками и без помехи думай свою мальчишескую думу. Отец на возу. Пускай немного отдохнет — он устал, пока вершил этот большой возище.

Рыдванка их подъезжала уже к гумнам. Серега не видел ни риг, ни сложенных возле тока копен, но знал — гумны близко. На этой дороге ему каждая ямка знакома. Теперь приспел его час, которого он ни за что на свете не упустит. Цепляясь за веревку, придерживающую гнет, он по-кошачьи быстро взобрался на воз и уселся рядом с отцом. Константин Павлович остановил лошадь, передал вожжи сыну, а сам спустился на землю: он отдохнул и может уже пешком дойти до гумна, тут недалеко. Для Сереги же этот миг — событие непередаваемо радостное. Он один на возу, и вожжи у него в руках. Теперь он полный хозяин, покрикивает на лошадь, которая где-то внизу, под его ногами. Пускай видят все, какой он большой и как хорошо правит лошадью!

От гумен до Сереги уже докатывался глухой перестук цепов. На одном гумне молотят только двумя цепами — это трудится маленькая семья, наверное, муж и жена. На другом — в четыре цепа, у этих видать, дети подросли и взялись за цеп. А с иных гумен доносится дробный, гулкий перестук шести, а то и восьми цепов. Облако пыли высоко поднимается над таким гумном. Каждая семья торопится, старается не потерять ни часа, а значит, и ни единого колоска, ни единого зернышка. Словом, страда, она и есть страда.

Гумна, ежели к ним приглядеться хорошенько, живо представят вам лицо самого села. Достаточно взглянуть на ригу, на ток, на копны снопов возле него, чтобы понять, кому принадлежит гумно: кулаку, середняку или бедняку. По гумнам, стало быть, легко сосчитать, сколько на селе зажиточных, середняков и бедных.

Гумна с копнами и ометами обмолоченной соломы похожи на город. Как в городе есть большие, высокие дома и маленькие, приземистые домики, так и тут: вон те семь копен, выложенных удивительно ровно, разве они не напоминают большие городские постройки и разве не смотрят свысока и снисходительно на другие копешки и ометишки?! Они первыми встречают утреннюю зарю, это их макушки перво-наперво позолотят солнечные лучи. И путник, приближающийся к гумнам, увидит сперва их, а потом уж разглядит, может быть, и другие. Высоченные эти копна и ометы принадлежат, конечно, Куштаеву, Тетереву Микижке, Солдатову Проне. Клади снопов плотно окружают ток. Вздумай ветер швырнуть с копны сноп, он упадет лишь на ток и никуда больше, и ни одно зернышко не обронится где-то в стороне.

Ни дня ни ночи не знает покоя Куштаев. Нет, молотить он не торопится, на его гумне людей с цепами не увидишь. Спешат те, кому не из чего испечь хлеб, кому надоело держать зубы на полке. А зачем торопиться Куштаеву, когда от прошлогоднего и даже от позапрошлогоднего урожая у него осталось хлеба столько, что его с лихвой хватит на два года?! Основная его забота — вывезти все снопы на гумно и сложить в добротные копны. Обмолотить же он всегда успеет: конная молотилка стоит наготове.

Зато с другим делом он не задержался и одной минуты — полным ходом заработала его паровая мельница. Сейчас возле нее — ярмарка подвод с рожью. Сюда съезжались не только жители Сивеньков, но и многих ближних деревень и сел. Всем хотелось поскорее смолотить муки из нового урожая и накормить наконец семью.

Быстро, точно проливной дождь, пронеслась, прошумела над селением страдная пора. Хлеба свезены на гумна и обмолочены. У большинства жителей тока опустели, начали уж зарастать свежей травкой. Куштаев к тому времени, кроме мельницы, наладил и просорушку, и маслобойку. И только теперь обратил свой взор на гумно, где терпеливо ожидали своего часа необмолоченные сно-

пы. И дождались: едва поднялось над гумнами солнце, ровно и басовито загудела молотилка, установленная и выверенная накануне. Тут трудились по большей части бедные мужички, легко и быстро управившиеся со скудным своим урожаем. Каждый из них надеялся подработать на Куштаевом гумне — глядишь, пудик-другой подкинет старик, может, и деньга какая перепадет.

Сам Куштаев стоит сейчас возле молотилки, смотрит, как течет зерно из его рукавов, прикидывает, взвешивает в уме, сколько возьмет на этот раз хлеба.

Не знал Куштаев, что скоро наступят времена, которые избавят его от всех этих забот.

II

Ранней осенью, пополудни, Серега и его отец стояли у своих ворот. Они только что выгрузили картофель в погреб и собирались идти полудневать. Как раз в это время по их порядку шел почтальон. Поравнявшись с Маркиными, он поздоровался.

— Константин Павлович, не хочешь ли подписаться на газету?

— А на какую?

— Всякие есть. «Беднота», например. Есть и эрзянская, называется она «Якстере теште»[1]...

При этих словах почтальона глаза мальчика загорелись. Ему не верилось, что можно так-то вот просто — выписать, а потом держать газету в своих руках, получать ее на дом. Серега слышал об этих газетах, ну а видеть — не видел ни разу. Поэтому он стал подергивать отца за рукав, шептать потихоньку, чтобы тот непременно выписал эрзянскую. Мысленно он держал уже ее в руках.

Отец, однако, не торопился. Спросил почтальона:

— А о чем в ней пишут?

— Обо всем! — ответил почтальон.— Но больше о сельской жизни. Обо всех эрзянах, какие живут не только вот тут, у нас, но по всей стране.

— Да-а-а,— протянул заинтересованно Маркин.

Почтальон, чтобы окончательно победить его колебания, решил взять себе в союзники мальчишку и заговорил горячо:

---

[1] «Якстере теште» — «Красная звезда», единственная газета на мордовском-эрзя языке, выходившая тогда в Москве.

— Там и песни печатают, рассказы и стихи — и все по-эрзянски!

— По-эрзянски?! — ахнул Серега.— И песни, и рассказы?! А кто их сочиняет?

— Толком не знаю. Но рассказывают люди, будто есть эрзянские сочинители. Писателями и поэтами прозываются. Вот вырастешь, выучишься грамоте и сам, глядишь, сочинять будешь.

Константин Павлович улыбнулся и махнул рукой, но он знал, что сын, растревоженный почтальоном, теперь уж не даст ему покоя. А Серега думал: «Неужто и эрзяне умеют складывать такие же стихи и сказки, как Пушкин?» Невольно губы его зашептали знакомые строки: «У лукоморья дуб зеленый, златая цепь на дубе том...»

Отец не стал больше расспрашивать о газете. Он и сам не прочь был почитать, а тут еще сын — мог ли он отказать ему! «Пускай читает, берет все в разум»,— решил он и направился в избу за деньгами.

Отдавая Маркиным квитанцию, почтальон обратился к возвращавшемуся откуда-то Куштаеву:

— Вот и Василь Силыч подпишется на газетку!

— На что? — переспросил старик, останавливаясь и прикидывая в уме, на выгодное ли дело подбивают его.

— На газету, говорю. Эрзянскую. Называется «Якстере теште». Константин Павлович вот подписался...

— У него, милок, только и делов, что газетки почитывать! А мне недосуг: работы невпроворот. Газетка, милок, не прокормит тебя,— ответил было Куштаев, но затем подумал о чем-то еще, переспросил: — «Якстере теште», говоришь?

— Именно так, Василь Силыч,— подтвердил почтальон, решив, что старик одумался.

— А скажи-ка, мил человек, к какому месту можно приклеить эту самую «теште», звезду то есть? — ко лбу, аль к другому какому предмету? Ась? Хи-хи-хи! Согрешишь с вами, ей-богу!

III

После полудневанья отец и сын опять вышли на улицу — пора возводить вокруг избы заваленку. Распределили обязанности: Серега подтаскивал из проулка колышки и жердочки, а отец прилаживал их у фундамента.

Работа была прервана новостью, принесенной вместе с очередной охапкой кольев Серегой.

— Пап,— торопливо сообщал он.— Глянь-ка, по проулку тащит задние ноги свинья Куштаевых. Кто-то, видать, огрел ее, чтоб не лазила по чужим дворам...

Константин Павлович вслед за сыном вышел к проулку: действительно, Куштаева свинья, жалобно повизгивая, волокла заднюю ногу. Серега взял прутик, хотел было отогнать хрюшку к ее подворью, но Константин Павлович остановил его.

— Не связывайся, сынок, а то еще скажут, что ты сломал ей ногу.

Они продолжали свое дело, позабыв про свинью, которая добралась на хозяйский двор без их участия. Ни Серега, ни его отец не знали, что их видел через окно Куштаев. Он был убежден, что животину его покалечили Маркины. «Ну, постой! — мстительно думал Куштаев,— я за все заплачу тебе, покажу, как грабить чужой хлеб, как ломать свиньям ноги, как почитывать газетки! Жизни мне никакой от вас нет — ни от тебя, галах, ни от Зубкова, ни от Камакшева!»

Рассуждая таким образом, Куштаев, однако, шума не поднял и ругаться с Маркиными не пошел. Лучше так: око за око, зуб за зуб. Когда в село возвращалось с полей стадо овец, Куштаев поймал лучшую овцу Маркиных и затащил ее на свой двор. Все это на глазах Константина Павловича. Когда тот пришел к Куштаеву и спросил, для чего это старик сотворил такое, тот как ни в чем не бывало осведомился:

— Чего забыл на моем дворе, газетчик?

— Что-то неласково встречаешь шабра, Силыч? Сдается мне, что моя овчонка приблудилась к вашим, мне даже показалось, что ты сам ее приволок сюда.

— Какая овца, милок? — уже мягче спросил Куштаев, изобразив на лице крайнее удивление.

— Ты не хуже меня знаешь — какая. Та, какую ты поймал в стаде и привел на свой двор. Может, ошибся — за свою принял?

— Поймал, значит, так нужно было,— сердито проворчал Куштаев.

— Но ведь овца-то моя! — воскликнул Маркин.

— Была твоя, теперь моя. Уходи с моего двора. И этого волчонка убери! — указал старик на вошедшего вместе с отцом Серегу.

— Постой, постой, Силыч! Это как же так: уходи?

— Очень даже просто! Как вошли, таким же путем и уматывайтесь! — Глаза Куштаева уже наливались кровью.— Я не спрашивал тебя, милок, зачем тебе сподобилось ломать чужим свиньям ноги. Может, сам теперь скажешь?

— Видел я твою свинью в проулке. Это правда, да ног ей не ломал. Совесть моя чиста.

— У тебя ее и нету, совести. Давно вместе с душой продал антихристам. Помалкивал бы лучше. Сам, собственными своими глазами видел, как вы сгубили мою супоросную свинью с этим щенком. Скажешь, не так?

— Ты что это, Василь Силыч, всурьез?.. Крест-то на тебе есть аль нет?

— У меня-то есть! — завопил старик, стуча себя в грудь.— А вот у тебя его нету! Иначе бы не калечил чужой животины! Ну да бог с тобой. Овечка твоя хоть и не стоит свиньи, но все ж таки какая-никакая, а замена! Чего еще с тебя возьмешь!

— Но ведь это ж форменный разбой! Не отдашь овцу — в сельсовет пойду жаловаться.

— Угрожать мне еще!.. Пшел отседова! Жалуйся кому угодно! — кричал разъяренный старик.

— Без овцы я отсюда не уйду,— сказал Маркин и направился было к изгороди, где гуртовались овцы Куштаева.

— Вон с моего двора! — заорал что есть мочи Куштаев, схватил у колодца багор, размахнулся и ударил Константина Павловича по голове. Маркин упал. Серега закричал, кинулся сперва к отцу, затем выскочил на улицу и стал скликать людей.

К воротам Куштаева сбегался народ. Серегина мать, вся в слезах, склонилась над мужем. Куштаева во дворе уже не было. Константин Павлович лежал посреди двора, прикрыв голову руками: из-под пальцев сочилась кровь.

Народ валил уже валом на подворье Куштаева. Люди ахали-охали, иные пытались отыскать старого разбойника и учинить над ним самосуд. Серега стоял рядом с отцом и рассказывал, как было дело.

Вскоре пришел и председатель сельсовета Зубков.

Константина Павловича унесли домой. Народ постепенно разошелся по домам. Зубков велел Маркитану написать медицинское заключение.

— Да у меня, едят те мухи, и печатки-то нету! А без печати какой же, сват, документ выйдет?

— Твое дело обследовать рану и записать. Печать поставим в сельсовете,— сказал ему Зубков.

— А чего... то есть... как писать-то? Я, едят те мухи, отродясь ничего не писал.

— Ты у меня дурака не валяй! — прикрикнул на ветеринара председатель.— Сколько тебе втолковывать?! Видишь — кровь?

— Знамо, сват, вижу. Кто ж ее не видит!

— Откуда она течет?

— То есть, как это — откуда? А ты-то что, сват, аль слепой? Из головы свата Константина...

— Выходит, там рана?

— То есть, а где же еще? Натурально там!

— От чего она получилась? Ежели ударить по голове снопом, будет рана?.. Не прикидывайся дураком! Ты, видать, заодно с тем Куштаевым? Смотри у меня! — пригрозил Зубков.

— Вот сейчас все, как есть, понял, едят те мухи! Мы такое сейчас сочиним, что этому старому черту Куштаю век в остроге сидеть. Назовем нашу бумагу так, сват: «Злоумышленное нанесение травмы на почве классовой подоплеки». Хорошо? Так, Лексей Андреич, я толкую это дело?

— Правильно.

— Слава богу, угодил в точку. А теперь, сват,— Маркитан уже обращался к пострадавшему,— иделаем обследование... Ай-ай, вот те и «милок»! Глянь, что натворил старый хряк. Сперва сынка, его, Сережку, бандиты чуть на тот свет не спровадили, а теперь и самого норовили туда же... И кто? Куштай! И кто бы мог подумать, что он с этими бандитами заодно! — возмущался Маркитан, вертясь возле Константина Павловича.

Закончив обследование, он промыл рану и забинтовал ее.

После того как был составлен документ, Зубков взял с собой понятых и приступил к розыску Куштаева. Но в тот вечер найти его не смог. Ограничился тем, что возвратил овцу на двор Маркиных. И на второй день Куштаев не был обнаружен. Пришлось составить акт и вместе с заявлением Константина Павловича отправить в Кедровск в милицию.

IV

На второй день наемные молотильщики шли на гумно Куштая неохотно, собирались молча, с опущенными головами, словно были сообщниками старика в совершенном им злодействе. Расселись возле копен, долго курили и разошлись по домам. «Пусть сгорит хлеб у разбойника! Он убивает нашего брата, а мы ему еще и помогай!» — говорили мужики.

Из Кедровска приехал милиционер и сразу направился к Куштаеву. Пробыл там полдня и, никому ничего не сказав, ускакал в город. В селе никто толком не знал, зачем же приезжал блюститель порядка: он даже с Маркиным, пострадавшим, не встретился и не поговорил. А наутро объявившийся невесть откуда Куштаев запряг лошадь и сам покатил в Кедровск. На телеге, прикрытая пологом, лежала тушка свиньи.

В городе Куштаев отправился прямо на квартиру Капитанова. Начальник милиции встретил его ворчливо, завидя свиную тушу, немного смягчился. Куштаев сейчас же стал горячо рассказывать о случившемся, умолял не доводить дела до суда. Капитанов грубо остановил его, он уже знал о происшествии, сам же направлял в Сивеньки милиционера, соответственно проинструктировав.

— Дело на меня завели и в милицию к тебе послали, милок,— жаловался Куштаев,— чтобы, значит, осудить меня и в острог упрятать...

— Оно и следовало бы,— помогая старику опустить тушу в погреб, заметил Гава.— Только круглые дураки да выжившие из ума старики, вроде тебя, борются так с врагами! — и, к ужасу Куштаева, совершенно неожиданно заключил: — Ничего не поделаешь, Василий Силыч. Придется тебе наведаться к Маркину. Дело не очень красивое, и о нем могут узнать не только в милиции. Захвати с собой четверть самогону, авось не устоит. Ну, а если не простит, что-нибудь придумаем... Свидетелей, говоришь, не было? Только мальчишка? Ну, это не свидетель.

— Гаврила Егорыч, родный мой! Умоляю, милок, на колени перед тобой, как в тот раз, готов встать...

— Перед Маркиным встанешь на колени, а не передо мной. Ты меня какой уж раз ставишь в дурацкое положение, впутываешь в темные дела. Ты, что же, хочешь, чтобы я из-за тебя партийный билет положил?!

— Я того... того, Гаврила Егорыч!.. За все твои хло-

поты расплачусь, в долгу не останусь, так что будь спокоен, милок! Подкину, подкину тебе...

— Ну-с, мне пора. Делай то, что велю. Посули этому Маркину что-нибудь — простит.

Вздохнув, Куштаев развернул лошадь и выехал со двора.

V

Он заявился к Маркиным в воскресенье, поздним вечером. С собою привел Микижку Тетерева и Солдатова Проньку. Серега увидел их, и сердце его сжалось: «Папаньку убивать пришли». Хотел было закрыть горницу, но не успел. Константин Павлович сидел в передней избе, не поднимаясь навстречу нежданным гостям. Куштаев стал на колени, и так вот, на коленях, начал двигаться к Маркину, держа перед собой четверть самогона.

— Константин Палыч, голубок, прости меня, старого дурака! Нечистый попутал! — дрожащим, исполненным искреннего раскаяния голосом говорил Куштаев. Серега теперь уж догадался, зачем пожаловал немилый их сосед,— просить прощения. Старик продолжал с мольбою в увлажнившихся глазах: — Проси, что пожелаешь, отдам все, как есть, только приостанови дело, не давай ему ходу. Выпьем вот магарыч — и свято!

— Я никаких дел ни на кого не заводил,— сидя у краешка стола, негромко сказал хозяин.

— Грех говорить неправду, шабер! Под суд меня отдашь, в острог норовишь отправить...

Серега стоял около голландки и не сводил глаз с Куштаева, думая про себя: «Ну, и хитряга же, этот старик! Ишь как прикидывается!»

— А мальчишку-то бы проводил, Палыч, в заднюю избу. Зачем ему слушать взрослых? — указав на Серегу, молвил Солдатов.

— Он не помешает,— ответил Константин Павлович.— Он разбирается не хуже нашего. Пускай послушает — может, пригодится в жизни.

— Не замай его, кум. Пускай тут стоит,— вступил в разговор Тетерев,— малец все равно ничего не поймет... Да-а-а, некрасиво получилось, что и говорить! Мы вот с Проней пожурили за это Василь Силыча. Но что поделаешь — погорячился человек! Теперь вот пришли и мы

просить тебя: сыми обиду, не забудет он твоей доброты, вознаградит. И то сказать: живем в обчестве, как в большой семье. А в семье чего не бывает — и ругаются, и мирятся...

— Мне ничего не надо от него. Только пусть скажет при вас: кто сломал ногу свинье?

— Э, да плюнь ты на эту свинью, милок! — вскричал с притворною обидой Куштаев.— Свинья она и останется свиньей. Не в свинье дело...

— Постой, постой,— спокойно, но твердо стоял на своем хозяин.— Ты ответь на мой вопрос. И не виляй туда-сюда, а говори прямо, человек ты набожный. Сам же сказал, что обманывать грешно. И подымись с колен-то, я тебе не икона. И вы не стойте — в ногах правды нету. Сядьте вон на скамейку. Отвечай, шабер. Немного прошу у тебя.

— Леший, говорю, попутал, Палыч. Мне примнилось, что это ты покалечил свинку, по твоему проулку она шла,— сказал Куштаев, подымаясь.— А за приглашение сесть — спасибо. Но мы уж постоим так, только прости.

«Что же это за человек,— думал, глядя на соседа Маркин.— То укусит, подкравшись по-собачьи сзади, то ужалит змеей или бешеным волком оскалится, то прикинется хитрой лисицей?..»

— Не путай по-заячьи след свой. Говори: я или не я сломал ногу твоей свинье? Видал ты меня или не видал?

— Не знаю... Видеть не видал... Прости меня, старика! — Куштаев низко склонил голову перед Маркиным.

— Вот теперь все. Больше мне от вас ничего не надо. Идите! Остальное скажут судьи. Ну, марш! Кому сказано?!

Куштаев задрожал и начал пятиться назад, к двери. Микижка выхватил из его рук четверть — боялся, видать, как бы старик не выронил ее.

Уже на улице Куштаев заскрипел зубами: такого позора он еще не терпел ни разу в своей жизни. «Погоди, милок, не только на коленях — на брюхе будешь передо мной ползать! И плясать заставлю! Осудить меня — хрен осудишь, свидетелев-то нету, детей малых в свидетели не берут!.. Гляди, придет время — все припомню тебе, большевистская гадина!» — перекипал гневом Куштаев, направляясь домой.

Зато Серега вздохнул легко. Он подошел к отцу, обнял. В горницу неслышно вошла Прасковья Карповна:

— Зачем это он? Не мириться ли?

— Мириться. И компанию свою привел. И самогонки приволок, чтобы хватило на всех.

— Ну, что? Помирились?

— Как бы не так! Моя голова хоть и не шибко умна, но за четверть вонючей самогонки ее не продам. Хотел купить меня, гад. Пускай знает: Константин Маркин своей души никому не продает!

— Зря ты, старик, разбушевался. Лучше бы уж помирился. Свяжись с таким окаянным, он такое натворит! — сказала Прасковья Карповна и перекрестилась: — Господи, оборони и избавь!

Константин Павлович ждал повестки в суд или еще какой-нибудь бумаги, но город молчал. «Что же это такое? — горько размышлял он.— Неужели так вот и пройдет?»

Через две недели бумага все-таки пришла. Начальник милиции сообщал, что следствием установлено: драка, которая произошла между гражданами Куштаевым и Маркиным, не выходит за рамки обычных драк, которые столь часты на селе, а поэтому заявление гражданина Маркина надлежит «считать утратившим силу». Для пущей убедительности в бумаге содержалась ссылка на то обстоятельство, что при драке свидетелей не оказалось, без чего суд вообще не может состояться.

Константин Павлович прочел бумагу один раз, другой, покачал головой и сейчас же отправился в сельсовет. Бумага, подписанная Капитоновым, удивила Зубкова. Теперь они оба призадумались, Константин Павлович рассказал о «визите» Куштаева. Помолчав, спросил:

— Что же теперь делать, Лексей Андреич? Может, плюнуть и поставить крест али точку? Выходит, Куштай сильнее нас.

— Нет, так нельзя,— решительно возразил Зубков.— Простим — они на голову нам сядут. Как же мы будем строить новую жизнь, бороться с кулаками — ведь они же наши классовые враги! Дело разве в свинье? Этот Куштай мстит тебе за хлеб, за твоего Камакшева, за все. Он и мне будет мстить, только выжидает подходящей минуты. На нашем, партийном, языке это называется классовая борьба. Они нас считают врагами, мы — их, вот и идет борьба: кто кого. Они нас кусают, а мы, что же, не можем сдачи дать? Разве мы с тобой не Советская власть?!



— Оно вроде бы и так, Андреич. Но как понять эту бумагу?

— Ну, тут и я ничего не понимаю. И вряд ли мы с тобой найдем тут ответ. Давай запрягай-ка поутру лошадь и вместе поедем в уком партии, к Петру Андреевичу.

VIII

Утром они выехали в Кедровск.

Камакшева в укоме не оказалось. Он появился только после обеда и сейчас же принял Зубкова и Маркина.

— Мне уже докладывали о вас,— говорил он, рассаживая гостей.— Ездили на элеватор. Какие-то мерзавцы готовили там взрыв. Молодцом оказался Капитанов. Вовремя подоспел. В перестрелке одного кокнул. Сам едва не нарвался на финку, но элеватор спас.

Константин Павлович и Алексей Андреевич переглянулись: вот и пожалуйся на Гаву! В сравнении со спасенным элеватором их дело показалось, мало сказать, несерьезным — просто пустячным. Они уже хотели уходить, когда Зубков все-таки заговорил о Капитанове.

— Хорошо, говоришь, чует врагов Капитанов?

— Лучше некуда.

— Н-да,— глубоко вздохнул Зубков.— А вот в нашем деле он что-то не больно разобрался.

— Какое у вас дело? Что случилось? — Петр Андреевич посмотрел сперва на одного, потом на другого.

Председатель сельсовета рассказал. Константин Павлович дополнил его рассказ подробностями. Показали ответ начальника милиции на заявление Маркина.

— Как же все это понимать? — видя, что секретарь укома дочитывает поданную ему бумагу, нетерпеливо спрашивал Зубков.— Почему начальник милиции берет под защиту кулака?

— М-да-а,— вздохнул Камакшев.— Тут действительно что-то не так. Попробуем выяснить.— И секретарь взял телефонную трубку: — Ал-ло! Товарищ Капитанов? Это — опять я. Да, да, Камакшев. Зайди-ка на минутку в уком. Да, сейчас же!

Гава какое-то время смотрел еще на положенную им на рычажок трубку, пытаясь отгадать, зачем бы это еще понадобился он секретарю укома. Вероятнее всего, опять

по делу элеватора. А вдруг — нет? А что еще? Может быть, как-то пронюхал, что всю историю с зернохранилищем затеял он! Но едва ли! Узнать об этом можно было лишь через одного человека, а его нет в живых. Мертвецы же, как известно, молчат. Второй, которого не успел пристрелить, сидит под семью замками, да он и не знает ничего про Капитанова, поскольку был завербован уже другим человеком, а именно — тем, кого пристрелил Гава. Так что это дело отпадает. С элеватором все получилось как нельзя лучше: Гава теперь мог снова и долго ходить в героях. Сам Камакшев благодарил его перед всеми укомовскими сотрудниками, долго пожимал руку и расследование готовившейся диверсии на элеваторе поручил ему, Гаве. Это могло означать только одно: Камакшев полностью и безоговорочно доверяет своему начальнику милиции. Однако что же еще у него там? Зачем позвал да еще так срочно?..

Войдя в кабинет секретаря укома и увидев Зубкова и Маркина, Гава выпрямился по-солдатски и гаркнул:

— Слушаю, товарищ секретарь укома партии!

— Ну, как с элеватором? Начали расследование?

— Так точно, товарищ секретарь, начали! — отрапортовал Капитанов, облегченно вздохнув.— К элеватору поставили надежную охрану, диверсанта держу под строжайшим арестом, следствие веду сам, как приказали!

— Все это хорошо, товарищ Капитанов. А что же происходит в Сиверьках? Кулаки, говорят, там вновь голову подняли. Куштаев вон чуть не убил Маркина. Ты знаешь об этом?

— Так точно, товарищ секретарь, знаю! Для расследования этого дела высылал в Сиверьки оперативного работника, инструктировал его, как положено. Сам выехать не мог — были важные дела тут, в городе. Полагаю, однако, что мой сотрудник неплохо справился с этим делом...

— Очень, очень плохо справился с заданием ваш оперативник,— перебил Гаву секретарь укома,— а сам ты поторопился подписать вот эту бумагу. Твоя подпись? — Камакшев указал на листок.

— Я привык верить своим работникам, товарищ Камакшев. А этот, похоже, подвел меня, каналья! Сейчас же, товарищ секретарь, поручу это дело другому. Найдем на кулаков управу! А с тем милиционером я поговорю, крепенько поговорю. Я ему покажу, как подводить на-

чальника милиции! И ты, Константин Павлович, будь спокоен: я доберусь до этого Куштаева!

— Ну, хорошо. Идите, товарищ Капитанов!

Гава, по-военному щелкнув каблуками, ловко подхватил портфель и вышел из кабинета.

— Вот видите, как хорошо все устраивается. Дело с Куштаевым будет пересмотрено,— заговорил Камакшев, как только за Капитановым захлопнулась дверь.— Спасибо, что приехали. Почаще наведывайтесь. А как ты, Константин Павлович, не надумал вступить в партию?.. Думается мне, твое место в наших рядах. Но... не тороплю. Решай сам. Подумай хорошенько и, когда надумаешь,— сообщи вот Зубкову.

Проводив гостей, Петр Андреевич пригласил к себе председателя кедровского ЧК, старого коммуниста, и разговор их был на этот раз о Капитанове.

В Сиваньках события развивались следующим образом: неделю спустя на Куштаева был наложен денежный штраф. А еще через месяц сельская партячейка приняла Маркина в партию большевиков.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

I

По сивеньским обычаям в воскресные дни никто не работал. Будь то посевная, жатва ли — воскресенье есть воскресенье: люди отдыхали. Трудились лишь на тех дворах, да и то до полудня, где объявлялась помочь. Помочь же, как известно, сама по себе праздник.

Вот и нынешним воскресным днем — тихо и дремотно на селе. С молотьбой только что покончено. Умолкла и молотилка Куштаева. Хоть и короткая, но для людей передышка. Лишь сельская ребятня не знает ее, как, впрочем, не знает и усталости. Костя Ярыгин прибежал к Сереге тотчас после завтрака.

— Сергей, айда на гумны!

— Зачем? Там сейчас никого нет.

— Вот и хорошо, что — нет. Никто не помешает играть. По ометам будем лазить и кататься с них. Знаешь, как хорошо! Или в войну поиграем. Мы с тобой — крас-

ные командиры, а остальным прикажем быть белыми. Эх, и надаем им!

— Айда! Только с кем будем играть? Где остальные?

— Они ждут на улице.

Через минуту ребятишки с Серегиного курмыша уже мчались в сторону гумен. У каждого в руке — палка или прут, сейчас эти безобидные штуки превратятся в грозное боевое оружие — шашки и ружья. Мальчишки бегут с криком и гиком, размахивают палками, точно саблями, рубят направо и налево головки репейника, макушки крапивы. Впереди войска два красных командира — Серега и Костя. Перед самыми гумнами они остановили бойцов.

— Смир-р-на! — скомандовал Серега.

Собрав вокруг себя ребятишек, он стал объяснять им правила военной игры: кому и где быть, кто будет красным и кто белым, что те и эти должны будут делать. С распределением, однако, вышла неувязка: никто из мальчишек не хотел быть белым. Как ни уговаривали их Серега и Костя, ничего поделать не могли. В конце концов порешили так: все ребята будут красными, а ометы — сооружениями белых. После того как была достигнута эта договоренность, Серега взмахнул над головой палкой:

— Вперед! За мной! Ура-а-а!

Весь отряд двинулся за своим предводителем. Ребятишки вмиг окружили омет и начали карабкаться на него.

Враг, разумеется, не выдержал решительного штурма, позорно обратился в бегство, оставив победителям свою крепость, то есть омет, на котором уже стояли Серегины бойцы и с разгоряченными лицами кричали «ура». Насладившись такой минутой, один за другим стали скатываться вниз.

Теперь ребятам надлежало по Серегиной диспозиции рассеяться и на животах, по-ящериному, чтобы, значит, никто не смог их обнаружить, добраться до другого омета. Серега и тут был первым — далеко от своего отряда. Работая локтями и ногами, он неуклонно продвигался вперед вдоль изгороди Куштаева гумна. Командир устал и остановился, чтобы немного передохнуть. Набрав в легкие побольше воздуха, прислушался. Над головой туго гудел шмель. Серега невольно начал наблюдать за ним: куда же он вознамерился сесть, этот его незваный спут-

ник? Ждать пришлось недолго. Шмель опустился неподалеку на кучу старой соломы и сейчас же зарылся в ней.

— Ага! — торжествующе воскликнул Серега, осторожно подкрадываясь к той куче. Он надеялся отыскать в ней шмелиное гнездо. Добравшись до соломы, шлепнул по ней ладонью, прислонился ухом и стал прислушиваться. Ничего не слыхать. «Ну, постой, вы у меня зашевелитесь!» — и Серега острым концом своей палки пронзил кучу, погрузив «саблю» по самую рукоятку. И опять стал слушать. И опять — тишина полная. Распорол кучу в другом месте — палка, упершись во что-то, вошла лишь наполовину.

— Ага, есть! — опять вскричал Серега и стал разгребать солому.

Он забыл уже и про товарищей, которые к тому времени успели захватить еще одну крепость «неприятеля» и теперь во всю мочь кричали «ура» на втором омете. Серега же, как лисовин в момент мышкованья, выбрасывал солому вправо и влево и скоро докопался до каких-то досок. «Что за оказия?» Ухватившись за край одной доски, приподнял ее и вздохнул разочарованно: под досками оказался самогонный аппарат. Но затем вновь оживился: «Вот ты куда его прячешь, Куштай-муштай! Гонишь потихоньку самогон и продаешь?.. Ну, погоди!..» — Серега опустил доску на прежнее место, закрыл проделанную им же самим дыру и поскорее покинул это место.

Серега отыскал Костю и отправился вместе с ним в разведку. Они обшарили все гумно Куштаева, заглянули во все его уголки, но никого там не обнаружили. Немного погодя Серега свистнул. Со второго омета горохом покатились мальчишки и в одну минуту оказались возле своих военачальников. Командир приказал им впрячься в молотилку и привести в движение водило, в которое во время молотьбы впрягают лошадей. Водило подалось вперед, завертелся — сперва медленно, потом все быстрей и быстрей — маховик, огромное чугунное колесо.

— Давай, давай! Поживее крути! — кричал Серега, стоя посредине, на специальном круге, с которого обычно подстегивают длинным хлыстом лошадей. Потом «командир» спрыгнул, подбежал к маховику и сунул палку. Послышался треск, похожий на пулеметную очередь. Это-то и нужно было Сереге. Он живо вообразил себе, что ведет огонь по цепям белогвардейцев.

— Давай, давай! — кричал теперь уж Костя, сменивший на круге своего дружка.

А Сереге вздумалось уж пальнуть по белякам из пушки. Он отыскал поблизости толстую сухую палку и ткнул ее в бешено вращающийся маховик. Шумовой эффект был полным: палка с треском переломилась, но снаряды, то есть обломки палки, полетели недалеко. Затем они приволокли с Серегой от омета дубовый гнет и сунули его прямо с ходу в мелькавшие в частом вращении спицы. Маховик крякнул как-то, задрожал весь и остановился. От неожиданной этой остановки мальчишки, катавшиеся на водиле, кубарем полетели вниз, а те, что вращали его, лежали на пузе. От маховика откололись два больших чугунных куска и плюхнулись на землю, поднявши облако пыли,— полная иллюзия разорвавшегося снаряда.

— Ура-а-а! — закричал, было, Серега, но тут же осекся: до него лишь теперь дошло, что он натворил. Остальные ребята не сразу сообразили, что тут случилось. Один за другим подымались они с земли, показывая друг другу «раны», полученные в этом жарком «сражении». У одних оказались поцарапанными животы, у других носы и локти, у третьих — порванные рубахи и портки. Но стоило ребятам увидеть поломанный маховик, их точно бурной волной выбросило на другой конец гумен. Тут они остановились и стали глядеть друг на друга, не зная, что им сейчас делать: смеяться или плакать. Лицо Вентеля Ермы было не только поцарапано, но и вымазано грязью, и на его чумазую жалкую физиономию трудно было, конечно, глядеть без смеха. Но до смеха ли было бойцам? По Костиной руке текла кровь. Другие прихрамывали. Словом, всем досталось. А впереди их ожидало худшее: заслуженная родительская выволочка и неизбежное, надо думать, возмездие со стороны злого старика Куштая...

Конечно, большая часть вины ложилась на Серегу. Это он совал в спицы маховика палки, и гнет нашел он, и вообще затеял всю эту пальбу из пулеметов и пушки. Видя, что его отважный приятель близок к тому, чтобы зареветь, Костя решил его немножечко приободрить:

— Ну, и пусть сломался — мы никому не скажем. Так тому Куштаю и нужно! Это ему за твоего папаньку! Во!

— Так-то оно так, Коська, но как бы и нам не влетело,— резонно заметил Серега.

— Что же теперь будет, Серега? А? — спросил Ерма Вентель, вытирая лицо подолом рубахи.

— Вот что,— начал «командир».— Если обо всем этом узнает Куштай, всем нам несдобровать: играли мы тут все до единого. Кто об этом расскажет, того посадят в острог в первую очередь! — припугнул он на всякий случай. Но, видя, что бойцы его опустили головы и начали потихоньку шмыгать носами, изменил тон: — Вот уж и захныкали! Не трусьте, ребята! Знаете, что я вам скажу: я давеча нашел клад!

— Клад? Какой?

— Где?

— Много ли там денег? — оживились мальчишки.

— Не деньги — самогонный аппарат в прошлогодней соломе Куштая. Тот самый, который искали и не нашли дядя Лексей с другими мужиками. Они не нашли, а я вот нашел! Искал там шмелиное гнездо, разрыл солому — доска. Приподнял ее — а под ней этот самый аппарат.

Не все сразу поверили Сереге.

— Что, не верите? Айда за мной!

Ребята гурьбой двинулись за Серегой. Каждый из них втыкал палку в указанном «командиром» месте и таким образом убеждался, что в куче действительно что-то есть.

— Чего же мы теперь будем делать? — спросил Костя.

— Вот что. Надо о нашем кладе рассказать Зубкову.

— Правильно!

— Пускай дядя Лексей сам поговорит с Куштаем! — кричали ребята.

— Тише вы! — Серега встал на колени.— Значится, сделаем так. Я сейчас же побегу в село, разыщу дядю Лексея и передам ему донесение. А вы укройтесь на гумнах и, значится, наблюдайте, не придет ли кто-нибудь из Куштаев сюда. Ежели придет и станет ворошить солому, пошлите кого-нибудь с донесением ко мне, а сами оставайтесь на месте и продолжайте наблюдение. Поняли?

— Поняли!

— Давай, Серега, чеши!

Серега засучил портки, перепрыгнул через плетень и побежал в сторону села.

Зубкова он отыскал в сельсовете.

— Дядь Лексей, знаешь, что? — с трудом переводя дыхание, начал Серега.

— Что там у тебя опять, Серега? — отложив в сторону свои бумаги, спросил председатель.

И, хоть в сельсовете никого не было, кроме председателя, Серега приблизился к Алексею Андреевичу вплотную и шепнул ему на ухо:

— Мы клад нашли!

— Где? Какой?

— Самогонный аппарат Куштая, на его гумне, в прошлогодней соломе.

Алексей Андреевич усадил Серегу рядом с собой и стал расспрашивать подробно.

— За этот аппарат мы молотилку его испортили,— соврал Серега.

— Ну, вот это уж зря! Молотилка-то не виновата. Нет, нет, вот за такие дела я тебя не похвалю. Ведь придет время, и молотилка эта будет наша. А вы ее разбили.

— Мы не совсем. Только маховик...

— И все-таки зря вы это...

Алексей Андреевич встал из-за стола.

Позвав с собой понятых, в том числе Серегиного отца, председатель направился к дому Куштаева.

II

Старик, подремывая, думал о своей последней встрече с Гавой: «Глянь, куда пролез бывший благородие, а? Начальник милиции! Большевик! А дом, а постройки во дворе какие у него, а? Когда только успел нажить?! Большевик!.. Хм... Знаем, что он за птица. Ну и добро. Пускай. Это к лучшему. Может, защитиг когда. А коли не так, ить и мы может развязать языки, шепнуть, кому следует, что оно такое, Гава!» Последняя мысль пряталась в самых глубоких, в самых тайных уголках темной куштаевской души.

Постепенно мысли его перекинулись на привычное и извечное: что же сделать такое, чтоб стать еще богаче. «И власть, и законы вроде не препятствуют этому,— думал Куштаев.— Может, лавчонку какую открыть? Но тут надоть схлестнуться с Солдатовым Проней, его лавку не переплюнешь. Да и возни с этой торговлишкой многовато: товары надо возить из Кедровска и даже из Саратова, нужны лишние лошади и люди. Опять же приказчик — без него никак не обойтись... Кто же будет всем

этим заворачивать? Митя? Но у него и без этого делов по горло. Сноха? Но не женского ума это дело. А одному мне не поспеть везде. Нет, с лавкой не сладить. Ну, а что же тогда? Может, войти в пай к Солдатову? А ить это дело! Что там потребуется от меня — пускай себе берет, зато доходы от лавки — пополам. А Микижка хорош: оседлал Медведицу и никого к ней не подпускает, один ловит рыбу, продает ее на базаре и деньгу складывает в свой кошелек. А разве он купил эту реку? Ни единой копейки не израсходовал на нее, а денежки оттуда черпает ковшом. Разве это порядок?! Нет, надо непременно войти к нему в пай, а потом жимши-бымши, потихоньку-полегоньку начать его вместе с его сыном выталкивать...»

Мысль эта так понравилась старику, что он, не откладывая дела в долгий ящик, теперь же пригласил в гости обоих — и Тетерева Микижа и Солдатова Проню. Поставил перед ними бутылку самогона. Начал издалека. Справился сперва о здоровье того и другого, потом перекинулся на торговлю, спросил благодушно, как она у них идет, какая рыба сейчас ловится в Медведице. О рыбе заговорил, пожалуй, рановато, потому что гости сейчас же насторожились. Микиж спросил:

— А почему это, Силыч, тебе не дает покоя моя рыба? Какая ловится, такая и ловится. Я же не спрашиваю тебя, какой доход получаешь от мельницы, просорушки и маслобойки. Не спрашиваю, как ты там, на базаре, разной разностью приторговываешь, как даже гнилой капустой потчуешь городских покупателей?

Слова Микижа, особенно упоминание о капусте, задели Куштаева за живое, но он умел вовремя взять себя в руки, рассмеялся:

— Хи-хи-хи! Глянь-ка, Проня!.. Хи-хи-хи!.. Его рыба! Ты слышал, как он сказал: «Моя рыба?» — Куштаев хохотал до слез. Потом вынул из кармана грязный платок, вытер глаза, пронзительно посмотрел на Микижа, продолжал уже серьезно: — Ты, что же, милок, эту рыбу сеял, выращивал? На каком таком основании считаешь эту рыбу своей? Может, ты купил Медведицу? Купил? Тогда, милок, скажи нам, сколько денег выложил за нее? Молчишь? То-то и оно. А теперь скажи, сколько денег черпаешь из этого золотого колодца, не внеся в него ни копейки?

— Ты не следователь, чтобы допрашивать меня, и не

прокурор. Говори, зачем позвал? Не для этого же допросу? — проворчал Микиж.

— Погодь, погодь, не сипети. Ты правду сказал: я, милок, и не следователь, и не прокурор. Но у меня, как у гражданина Советской власти, есть все права производить дознание, как, спротчим, и у вас вот обоих. Такие теперь порядки. Потому, милок, и спрашиваю тебя: доложи, будь добр, сколько налогу платишь за доходы от рыбы? Насколько мне известно, половину дохода ты скрыл от Зубкова, умолчал, как ты доишь денно и нощно Медведицу, словно корову о пяти сиськах...

— Ты что это прилепился ко мне, как банный лист к срамному месту? Чего тебе нужно? Как паук, сосешь кровь из всего села, и тебе все мало!

Вот таких слов Куштаев не ожидал. Забыв про все на свете, в том числе и про пай, долго шипел, будто ошпаренный, а потом заорал:

— Оскорблять?! В моем доме и меня же?! Задушу, сволочь! — старик в два прыжка оказался рядом с Микижкой и схватил его за грудки. Тот, точно щипцами, вцепился в Куштаев воротник. Проня кинулся их разнимать, и теперь они втроем, свившись в клубок, катались по полу.

В такую-то минуту и постучался в дверь Куштаева Зубков. Дерущиеся не услышали этого стука, поэтому Алексей Андреевич открыл дверь и вместе с понятыми вошел в избу. Только теперь они опомнились, расцепившись, поднялись на ноги и присмирели. Завидя председателя, Куштаев возопил:

— В самый аж раз пришел ты ко мне, Андреич! Не то б эти бирюки растерзали меня. Заявились непрошеными гостями и накинулись, точно волки. Прими, милок, меры! Заарестуй их, посади в кутузку...

— Не знаю, из-за чего вы тут сцепились, кто из вас прав и кто виноват. Сами разберетесь. А вот за это придется тебе, Василь Силыч, ответить,— Зубков наклонился и поднял с пола пустую бутылку из-под самогона.— Скажи, где укрываешь аппарат?

— Ты что, милок, не во сне ли? Какой еще аппарат?

— Ну так пойдем, мы сами тебе покажем. Собирайся быстрее!

— Эт... это куда же?

— А там увидишь. Поскорее, говорю, собирайся.

Из дома вышли все вместе. Потом Микиж и Проня

отстали и направились к себе. На гумне понятые извлекли из соломенной кучи аппарат, показали Куштаеву. Тот немедленно отказался от него.

— Откель мне знать, кто тут схоронил эту вонючую посудину!

— Кто же будет прятать по чужим гумнам свою собственность? — спросил Константин Павлович.

— Не знаю, не ведаю, милок. Тебе, должно, лучше знать — сам занимался этим самым... Забыл разве, как тебя с поличным накрыл Кузя!

— Ты вот что, гражданин Куштаев! Честных людей не пачкай в собственной грязи! — осадил Куштаева председатель.

— А ты, милок, не больно-то ори на меня! — огрызнулся старик.— Сейчас не прежние времена. Ты — власть, но и над тобою есть власть. И на тебя отыщется статья в законе.

— Отыщется, отыщется! А пока что взваливай-ка на спину свой аппарат и тащи в сельсовет. Там и договорим.

Куштай сорвался. Схватив вилы, которыми понятые разгребали солому, он бросился на Зубкова. Тот увернулся. Но Куштаев не отставал. Серега, видя такое дело, подцепил старика за штанину, и тог упал, а через минуту был уже связан веревкой. Зубков, Маркин, Офтин и другие мужики разобрали аппараг на части, прихватили еще железные вилы и, пропустив впереди себя Куштаева, направились в сельсовет.

Через две недели Куштаев был осужден и отправлен в тюрьму.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

I

С приближением нового года перед членами сельского Совета встало множество важных и неотложных дел. Некоторые хозяйства не выполнили продналог — надо было заняться ими. Кулаки наглели — приспело время осадить их, призвать к порядку. Необходимо было заново пересмотреть вопрос о самообложении. Из всех жителей Си-

веньков половина была безграмотных — пора открывать ликбез, привлечь к этому делу комсомольцев и учителей. Все эти заботы ложились на плечи председателя сельсовета Зубкова, который был и секретарем партийной ячейки.

Зубков провел совместное заседание сельсовета и партийной ячейки. Оно длилось до глубокой ночи.

Перед закрытием выступил Зубков. По привычке закинул назад волосы, заговорил повеселевшим голосом:

— Товарищи! Еще совсем недавно я был единственным коммунистом в Сиваньках. А теперь, гляньте, вон сколько нас! Это же сила! И у нас с вами уже немалый актив. Работать стало легче. Сегодня мы приняли хорошие решения. А теперь — за дело. Коли возьмемся дружно — гору свернем!

Константин Павлович возвращался домой один. Выпавший недавно первый снежок заровнял бугорки и ямки и сейчас скрипел под его ногами, будто он обут в новые сапоги. Было за полночь, но и снег, и полная луна в ясном небе хорошо освещали улицу. В некоторых избах еще мерцали огоньки, едва видимые из-за снопов, которыми обложены окна. Вокруг всех изб возведены заваленки, окна до половины засыпаны золой — тоже для теплоты. Так закутывают свои головы древние старушки, выходя на улицу зимнею порой, чего только не намотают на свои головы: и платки, и шали поверх платков. Вот такой бабушкой показалась Константину Павловичу его собственная изба.

В сенях он ощупью отыскал жесткий веник и смахнул им снежок с валенок. Вошел в избу. Прасковья Карповна сидела за столом под низко опущенной лампой и вязала шерстяные носки, рядом с матерью сидел Серега и читал ей книгу.

— Ты бы уж до утра оставался там,— проворчала жена.— Что тебя там привязали, что ли? — не дождавшись ответа, она отложила свое рукоделье и начала готовить ужин.

— Дела, мать. Не мог прийти раньше,— присаживаясь к столу, добродушно говорил Константин Павлович. Он потрепал Серегу за волосы, спросил: — Ну, а как твои дела, герой?

Серега немного покраснел. По обыкновению потер правой рукой шрам на щеке и вынул из сумки свои тетради. Отметки были отличные. Отец похвалил сына

и весело принялся за картошку, которую захлебывал капустным рассолом.

— А я нынче учительницу заменял! — сообщил вдруг сын.

— Как это так? — удивился отец.

— Не веришь? У нас была география. Ефросинья Матвеевна сказала: «Пока я в другом классе буду объяснять задачки, ты, Сережа, поди к карте и расскажи ребятам урок географии».

— Ну, а дальше-то что? — все более удивляясь, спросил отец.

— Ничего. Я встал у карты, взял указку — палочка такая с заточенным концом — и начал обводить ей тундру и рассказывать все про этот холодный край: кто там живет, что растет, какие звери водятся, олени разные...

Серега говорил, а перед глазами отца была школа: одна большая классная комната, в ней — два ряда парт, стоящих друг против друга, разделенных лишь классной доской и большими стоячими счетами. В одной половине занимались учащиеся первого и третьего классов, а во второй — второго и четвертого. В школе всего две учительницы: Ефросинья Матвеевна Макарова и Евгения Ивановна Булакова. Случалось и так, что одна учительница не могла одновременно вести занятия в двух классах, и тогда она оставляла за себя в старшем классе одного из самых способных и дисциплинированных учеников. Так теперь нередко оставался за учительницу Серега.

Константин Павлович видел сейчас сына не рядом с собой, а там, в школе, видел то, как Серега хорошо обструганной палочкой водит по карте и рассказывает своим сверстникам о далекой и холодной земле, которую сам никогда не видел и, может быть, не увидит вовсе. Потом перед затуманенным от волнения взором отца сын стоял уже у той же карты настоящим учителем. На нем белая рубашка, новенький черный костюм, а перед ним — человек сорок ребятишек, которые, затаив дыхание, внимательно слушают его сына...

Константин Павлович тряхнул головой, улыбнулся смущенно, опять принялся за еду. Серега тем временем запустил руку в ученическую сумку, вынул оттуда что-то, зажал в кулаке и спрятал за спину.

— Угадай, пап, что у меня тут?

— Книга, поди.

— А вот и не угадал! И ни за что не угадаешь! — он выставил руку вперед и разжал кулак.— Вот что у меня есть — новенькая ручка! Сегодня в школе раздавали бесплатно — прямо с перьями.

Действительно, на ладони сына лежала новенькая, сделанная из тонкой жести ручка. Она была покрашена красным лаком и вся лоснилась, сияла под лампой. Но больше всего сияло лицо мальчика, сделавшегося обладателем такого чуда.

II

На следующий день лучших учеников третьего и четвертого классов после уроков оставили в школе. Ефросинья Матвеевна сказала: будет собрание.

Через некоторое время в класс вошли председатель сельсовета Зубков и секретарь комсомольской ячейки Тюма Борякин. Ребятишки сразу же затихли. «Вроде ничего такого не натворили, а они вот пришли, да еще вдвоем!» — подумал Серега.

— Тише, ребята! — сказала Ефросинья Матвеевна.— К нам по очень важному делу пришли товарищи Зубков и Борякин.

Ефросинья Матвеевна уступила председателю свое место. Зубков начал:

— Дорогие ребята! Вот я смотрю на вас, и душа радуется. Большими людьми растете, хорошими строителями социализма станете — достойная нам, отцам вашим, смена. Вы уже сейчас умеете хорошо читать, писать и решать задачки. Но в Сиваньках очень много взрослых людей, которые ничего этого не умеют. Пора, ребята, этой темноте положить конец. И эту задачу мы без вас не решим. Вот мы и обращаемся за вашей помощью, юные наши друзья. Давайте создадим ликбез, там вы и ваши учителя будете обучать неграмотных.

Ребята оживились, потихоньку начали подтрунивать друг над другом: «Эй ты, учитель! Ха-ха-ха! Кодор! Ты — учитель, ха!»

Тюма Борякин стоял чуть позади Зубкова и отчаянными знаками показывал ребятам, чтобы они сидели тихо. Школьники примолкли, а Костя Ярыгин поднял руку.

— Что ты хотел спросить, Костя? — обратилась к нему Ефросинья Матвеевна.— Встань и скажи.

Костя сделался вмиг пунцовым. Слова, которые он

приготовил загодя и уложил их в своей голове ровным рядком, теперь поскакали кто куда, спутались. И он бормотал:

— Чо?.. Ах, да... Это вот, как уж... Забыл... Да, бишь — вот что!.. А не надают нам по шеям взрослые ученики?

Ребята снова расхохотались.

— А откуда мы возьмем буквари, карандаши и тетрадки? — спросил Ерма Вентель.

Ребята осмелели и говорили один за другим.

— А я не пойду, еще засмеют, скажут: какая это учительница — от горшка два вершка! — пискнула какая-то девочка.

— Запишите меня! Я не боюсь! — закричал Серега.

— И меня!

— И меня! — неслось со всех сторон.

Серега попросил, чтобы его послали проводить занятия в Грачевке, в самом дальнем конце села, где, как он надеялся, его почти никто из взрослых не знал. Задержавшийся в школе Тюма сообщил под ликующий крик учеников, что в Сивеньки из Кедровска приехали артисты, вечером в нардоме они будут показывать живую газету, и что все ученики старших классов приглашаются на концерт бесплатно.

Сереге не впервой бывать в нардоме. Тюма, работавший там избачом, давно подружился с этим бойким мальчишкой и снабжал его разными книгами. Но большинство книг были непонятны Сереге — толстые, в кожаных переплетах, шрифт мелкий. А тонкие книжки с картинками он все перечитал. В школе тоже есть библиотека, но в ней книг мало, и их Серега успел перечитать по нескольку раз каждую: в школе он сам был хозяином этой библиотеки.

III

Серега хоть и бывал часто в нардоме, но такого еще не видывал! О, как же хорошо пели и плясали кедровские парни и девчата. Наряжены все они одинаково: на ребятах черные брюки, белые сорочки и красные галстуки. На девушках черные коротенькие юбочки и кофты-безрукавки. В Сивеньках таких нарядов и не бывает.

На сцене стояли они в один ряд. Сперва кто-нибудь скажет слово, за ним — другой, а за другим — третий.

Потом все вместе ка-а-ак гаркнут: «Смерть мировому капитализму! Да здравствует мировая революция!» — и тут же подымают над головой кулак. А когда пели песню «Мы — кузнецы», все переоделись и будто вышли из кузни — в передниках с лямками на шее. А как плясали! Вай, как же они плясали! У Сереги и слов не хватит, чтобы рассказать об этой пляске. На что уж Ерошка плясун из плясунов во всех Сиваньках, но куда ему до этих!

Придя домой, Серега долго еще рассказывал о необыкновенном концерте матери и отцу, а когда лег, не мог заснуть: в ушах его не смолкали дивные голоса городских артистов, перед широко открытыми глазами мелькали то плясуны, то декламаторы.

А вот почему все это называется живой газетой, Серега решительно не понимал. Может, потому, что все артисты стояли на сцене в один ряд, на груди у каждого было по одной большой букве, из которых вместе складывалось целое предложение. Но Серега на эти буквы не смотрел — не до них было! Он слушал артистов.

Для сельской ребятни разговоров о концерте хватило, однако, всего на несколько дней. Накатывались другие события и заслоняли собой вчерашнее.

Однажды после уроков Ефросинья Матвеевна объявила, что с нынешнего дня начинает работать ликбез. В первый вечер в школе для взрослых вместе с отобранными учениками придут коммунисты и учительницы.

В Грачевку с Серегой собралась Ефросинья Матвеевна.

Они вошли в дом стариков Семкиных. Дом этот просторный. В нем жили только дедушка Филипп и его старуха. Дочь они давно выдали замуж, а сын жил в городе,— и сельсовет избрал его для ликбеза. В передней уже горела семилинейная лампа, сама горница хорошо протоплена, чисто подметена, вокруг длинного стола расставлены скамейки.

«Ученики» были уже в сборе. Мужики — кто на лавке, кто на корточках вдоль стен — сидели в задней избе и вовсю чадили. В табачном дыму еле проступал огонек коптилки. В правом углу теленок жевал онучу. Женщины находились в горнице и тихо переговаривались.

Первое занятие для Сереги было легким. Его, собственно, и не было, занятия. Ефросинья Матвеевна рассказала о задачах ликбеза, о том, в какие дни и часы будет работать школа, познакомила учащихся с их юным учи-

телем, который покраснел при этом до самых волос. Серега записывал в специальную тетрадь тех, кто будет на его уроках. Всего набралось двенадцать человек — семь мужчин и пять женщин. Выбрали старосту.

— Занятия с вами будет вести вот он, Сергей Маркин, сын Константина Павловича Маркина. Знаете его? — обратилась учительница к грачевцам.

— Знаем, знаем! — раздалось несколько голосов.

— Кто, кто? Да вы что, Ефросинья Матвеевна, смеетесь над нами? Что это за учитель? А я-то, дурак, думал: вот придет умный человек из города и начнет учить нас уму-разуму, а тут — нате, сосунка нам подсунули — смотрите на него, тоже мне учитель-мучитель! Ха-ха-ха! — Иван Иванкин, здоровенный мужичище лет тридцати, смотрел на присмиревшего мальца с откровенной издевкой.

Учительница строго оборвала его:

— Вы что, товарищ Иванкин, пришли мешать нам? Мы этого вам не позволим! И вообще... с тем, кто будет ставить палки в колеса нашему делу, будет особый разговор в сельсовете. Это понятно?

Ефросинья Матвеевна раздала буквари, тетради и карандаши, наказала, чтобы хорошенько берегли их. Женщины быстро разошлись, а мужики сидели до тех пор, пока не обкурили и переднюю комнату.

Вечером второго дня Серега шел уже один проводить занятия. Едва он оказался за своей калиткой — сразу оробел. Придут ли его ученики? А если придут, будут ли слушаться его? Может, все вместе начнут насмехаться? Эти вопросы мучали его всю дорогу. Больше всех, конечно, Серега боялся Ивана Иванкина...

Встретили Серегу с ухмылкой. Или ему это только показалось? Человек со стороны мог бы сразу понять, что эти взрослые люди просто не верили, что научатся читать и писать.

— Сегодня мы будем...— прерывающимся голосом начал Серега, вспомнив, что так начинала уроки Ефросинья Матвеевна. Но Иванкин сейчас же нарушил весь его план. Он встал, перегнулся через стол, чтобы оказаться поближе к «учителю» и, дурачась, спросил:

— Погодь, Сергей Константиныч, у меня вот есть вопрос. Скажи-ка, дорогой наш товарищ учитель, с какой стороны следует утирать нос? С правой аль с левой, а?

Серега и не заметил, как его рука обмахнула нос.


a

В горнице рассмеялись. Серегу будто кипятком окатили.

— Как же ты собираешься учить нас, ежели сам не знаешь, с какой стороны вытирать нос? — продолжал издеваться Иванкин, угощая бедного учителя густым самогонным перегаром. От его слов было не по себе не только Сереге, но и некоторым взрослым, особенно женщинам.— А теперь скажи, учена голова, какая разница между петухом и курицей? Ну? Хе-хе-хе! — расхохотавшись на весь дом, Иванкин победно уселся на своем месте.

— Ты что тут охальничаешь, пьяная харя? — первой поднялась Самсонова Окся, которую за бойкость выбрали вчера старостой.— Ты зачем сюда приперся, а? Завтра же пойду в Совет и заявлю на тебя! Ишь тебя повело с поганой самогонки, развязал язык-то свой глупый! Что ты привязался к мальцу — чуть до слез вон не довел... А ты, Сережа, не обращай на этого дурака внимания.

Заступничество Окси едва не прорвало плотину: Серега действительно чуть не заплакал. Однако он сжал зубы, перетерпел, дождался тишины и начал:

— Сегодня мы будем писать... палочки. У всех есть тетради и карандаши? — он подошел к небольшой черной доске, висевшей на стене, взял кусочек мела и стал показывать, как пишутся палочки.

Все склонились над своими тетрадями.

— Окаянный его побери, никак не могу карандаш удержать. Покажи, сынок, как его, непутевого, держать,— попросила одна женщина.

Серега нагибался то над одним, то над другим, заглядывая в тетрадки, показывая каждому, как выводить палочки.

Что-то колдует над своей тетрадкой и Иванкин. Сперва он держал карандаш вверх заточенным концом, потом заслюнявил кончик, перевернул и начал что-то выводить. Но карандаш сразу же сломался у него, и Иван сорвался с места.

— Наплевать мне на твои палочки и крючки-закорючки! У меня свои пальцы, как твои крючки, согнулись и ни хрена не слушаются! — Иванкин безнадежно махнул рукой и вышел из дома. Скоро за окном раздался его пьяный голос:

Хаз була-а-ат удало-о-о-ой,
Бедна са-а-кля тва-а-ая...

После его ухода занятия пошли нормально. Домой Серега возвращался в добром расположении духа, чувствуя себя вполне взрослым, который может принести людям пользу. Уверенность, что он нужен своим односельчанам, возрастала в нем день ото дня, по мере того, как он видел, что его ученики уже по-иному глядят на многое в жизни, они как бы прозревали, уже знали буквы, читали по складам, писали первые простейшие слова.

К ликбезу прикипали сердцем и высоковозрастные ученики. Каждый вечер Серега удивлял их какою-нибудь новой буквой, особенно написанием ее, чтением. Они завидовали своему юному учителю, им хотелось поскорее научиться так же, как он, читать и писать. «Как это мы, взрослые, да не сможем одолеть этот пустяк!» — думали они. Изменился со временем и Иванкин Иван. Теперь уж он сам покрикивал на тех, кто шумел на уроках. Среди учеников скоро объявились и свои агитаторы. Идет такой по селу, встретит кого-нибудь, спрашивает: «Ты, дорогой мой друг-товарищ, почему в ликбез не ходишь? Ой, зря это ты! Мы уже и буквы знаем, и читать умеем. Я вот, к примеру сказать, свою фамилию уж вывожу, расписываться научился».

Мог ли не радоваться Серега!

Однако не у всех так ладилось, как у Маркина-младшего. Его товарищи по классу после первого же вечера, осмеянные взрослыми, отказались вести ликбез. Вместо них занятия проводили учительницы и грамотные комсомольцы.

Непродолжительной оказалась и Серегина радость...

IV

В один из предновогодних холодных дней Константин Павлович собрался на базар. Он наложил воз соломы, чтобы на вырученные деньги прикупить что-нибудь к празднику. Выехал рано, когда Серега еще спал. Проснувшись, молодой хозяин напоил корову и овец, задал им корму и отправился в школу. Ему было весело думать, что вот он вернется домой и увидит отца с покупками. Но Константин Павлович не вернулся из Кедровска даже тогда, когда Сереге пора было уже идти в ликбез. Каких только дум не передумали они с матерью,

каких предположений не высказывали, успокаивая друг друга.

С нелегким сердцем отправился Серега к дедушке Филе, где его уже дожидались ликбезовцы. Немного подбадривала мысль, что, возвратясь с занятий, он увидит отца. С такой же надеждой ждала вечера Прасковья Карповна. Ожидаючи, она потеряла счет часам и минутам и потому вздрогнула, когда услышала стук калитки. Мать кинулась в заднюю избу. На пороге стоял сын.

— Не приехал? — спросил Серега, хотя мог бы и не спрашивать: саней ни у ворот, ни во дворе не было.

— Нет...— сказала упавшим голосом мать.— Может, у Петра загостился.

Серега отошел от матери, отвернулся, будто хотел вынуть из сумки книги и заговорил, всхлипывая:

— Может... может... папанька за... замерз в поле...

— Что ты, что ты! Подождем немного, да не так еще и поздно, видишь, люди только огни зажигают.

И они продолжали терпеливо ждать, прислушиваться, не скрипнут ли поблизости полозья, не звякнет ли щеколда у калитки.

В Кедровске же произошло вот что.

V

Маркин стоял со своей соломой в сенном ряду и не знал, что на него давно уже посматривали два человека. Один из них, низкорослый, был одет в овчинный полушубок, хорошо продубленный, каракулевый воротник приподнят, голову покрывала такая же каракулевая шапка, на глазах — темные очки. Второй — высокий краснолицый парень, одет победнее.

— Видишь пятый воз с правого краю? — спрашивал первый.

— Который с соломой?

— Ну да. Лошаденка у него так себе, но все-таки лучше других. Ступай, поторгуйся с хозяином для виду, приглядись к нему и к его коняке, глаз не своди с них. А в условленный час — аллюр три креста! Знаешь, не впервой.

Так напутствовал Гава своего работника Федю.

В последнее время Гава развернулся вовсю. Ему не составило большого труда выкрасть из милиции несколько пачек с бланками. Он заранее поставил на них печать,

решив, что все это может очень даже ему пригодиться. И бланки пригодились, быстро обернувшись для его карманов золотым ручейком. Как он и предполагал, в соответствующих документах крайнюю нужду испытывали спекулянты, воры-рецидивисты, жулики, разного рода проходимцы, недобитые буржуи, бывшие царские офицеры, прикинувшиеся скромными конторскими служащими,— весь это сброд не торговался в цене, приобретая у Гавы паспортные бланки. Но и этого Капитанову показалось мало. Он приладился угонять чужих лошадей и превратился в матерого конокрада. Надежнейшим помощником в этом был упомянутый Федя — профессиональный вор, которого Гава сам когда-то изловил на базаре, затем взял к себе в работники и сделал своим сообщником.

VI

Сейчас Гава пребывал в отличном настроении. Наконец-то подвернулся случай рассчитаться с Маркиным.

Возвращаясь в милицию, Гава размышлял не без злорадства: «Попался, голубчик! Ну-с, большевичок! Я тебе покажу райскую жизнь, узнаешь у меня, где раки зимуют!..»

Федя старался. Как и велено ему, глаз не спускал с Маркина. Он прошелся по сенному ряду, остановился у его воза, спрашивая, сколько стоит солома, а сам посматривал то на лошадь, то на хозяина, который ходил рядом, притопывая ногами и постукивая рукавицами: замерз, видать. Сделав вид, что возок ему не по карману, отошел прочь и, остановившись поодаль, стал ждать, когда Маркин продаст корм.

Наконец покупатель отыскался, и возок покатил вслед за ним, чтобы где-то там, на его дворе, свалить солому. Федя, точно тень, следовал за возом. Опорожнив сани, Константин Павлович завернул в ближайшую лавку, привязав лошадь к телеграфному столбу. «Взять?» — подумал Федя, но не решился: слишком много людей сновало вокруг. Скоро со своим мешочком вышел из лавки Маркин. Отвязал лошадь, легко кинул свое немолодое уже тело в сани, поехал. Федя — за ним. «Ага, в чайную торопится, погреться, видать, захотел. Может, и водочки пропустит на дорожку для сугрева...» — Вор довольно потирал руки.

Константин Павлович остановился возле чайной, оставил лошадь у привязи и пропал в дымном омуте питейного заведения. Федя вошел вслед за ним. Когда убедился, что Маркина окружили, по-видимому, знакомые люди и что скоро он из чайной не выйдет, незаметно выскользнул на улицу, перерезал узду, вскочил в сани, ударил лошадь кнутом — и только его видели!

Выпив два стакана чаю, Константин Павлович захватил мешок и вышел на улицу. Вышел, огляделся, и что-то вроде оборвалось у него внутри: ни лошади, ни саней. Он обежал вокруг чайной, заглянул в ближайшие дворы — нет, нигде лошади не видать. Ноги его онемели, сделались вдруг чужими и как бы пристыли к утоптанному снегу. Что же делать? Куда бежать? Где искать? А не ушла ли гнедуха, оборвав повод, опять на базар или, может, в тот двор, где свалена солома? Иногда с ней такое бывало. Надо поскорее побежать туда! Не ровен час...

Но и на знакомом дворе, находившемся на самом краю города, лошади не оказалось. Что же теперь делать? Вернуться обратно в город? Но уже поздно, солнце вон садится. День-то зимний короток. Может, гнедуха направилась прямо в Сивеньки, дорога-то вот она, близко отсюда...

И, подумав еще немного, Константин Павлович вышел на хорошо укатанный полозьями большак и пешком пошагал домой. Ему и в голову не приходило, что лошадь украли. Вскоре дорога испортилась, ее то и дело перебегали сыпучие гребни от поземки, идти стало трудно. В висках застучали какие-то молоточки.

До Таузы добрался затемно и зашел в крайнюю избу. Хозяин дома, услышав о беде прохожего, погоревал вместе с ним, поохал, предложил остаться у него переночевать, хотел напоить чаем, но Константину Павловичу не терпелось поскорее добраться до Сивеньков. Там его давно ждут, наверное, сильно беспокоятся. А коли гнедуха уже там, забеспокоятся еще больше. Не убили ли на большой дороге?

Немного передохнув, Константин Павлович вышел на заснеженную ночную дорогу.

И вот он опять шагает по сыпучему, ускользающему из-под ног, точно песок, снегу. Теперь нужно было идти на ощупь. Никто не нагнал его, никто не попался навстречу. А тут еще пурга поднялась, бросается в лицо колючими снежинками, не дает раскрыть глаз. Путник

пройдет немного, сделает несколько шагов — остановится, повернувшись спиной к ветру. Потом опять пойдет и опять остановится. «Только бы не упасть,— думает про себя,— теперь только бы добраться до леска, он, поди, недалеко...» Но вот путник немного сбился, ноги увязли в рыхлом снегу. От неожиданности Константин Павлович не удержался, упал. Обе руки до локтей погрузились в сугроб. Мешок перекинулся со спины через голову. «Пропал,— испугался Маркин,— пропал совсем... Ну, нет, Константин, нельзя так, давай-ка подымайся и — вперед, что же ты духом упал! Вперед, только вперед!..» И он на четвереньках пополз, нащупал дорогу, закинул на спину мешок, ощупал его, не выронил ли что, встал. Дальше пошел быстрее.

Наконец, и лесок. Тут надо с большой дороги повернуть направо, на проселок, ведущий к Сивенькам. Поискал-поискал его и направился просто так, без дороги, вдоль леска — тут он знал каждую извилину, каждый кустик. Однако, идя по пояс в снегу, окончательно выбился из сил, ноги сделались ватными, отказывались идти. Сперва он вытирал еще лицо, глаза, смахивал с бороды и усов сосульки. А теперь и руки не поднимались, все лицо покрылось снегом и льдом. Перед глазами стали появляться миражи. Вдали вдруг вспыхнул костер. Константин Павлович даже остановился, вытянул руки вперед, крикнул что-то. До его слуха долетел голос Сереги: «Папанька, иди скорее сюда-а-а! Сюда, сюда иди! Глянька, костер-то как хорошо горит!»

Константин Павлович вздрогнул, к нему опять возвратилось сознание, и он понял, что замерзает. Собрал в себе все силы, всю волю и опять тронулся. «Ага, я еще жив, — мелькнуло в его голове, — слышу собачий лай. Выходит, село рядом. Тявкай, тявкай, родненькая, тявкай! Я сейчас... я сейчас...»

Сколько еще он двигался, Константин Павлович не знает. В снежной замяти, совершенно ослепший от нее, он вдруг наткнулся на чей-то плетень. Страшно обрадовался: село! Перебирая колышки плетня руками, он побрел вдоль него, вышел к какому-то двору и мимо него — на улицу. Из всех огней глаза его измученные различили огонек родного дома. Как добрался до ворот, как открыл калитку и вошел в избу — не помнит. Перед женой и сыном стоял незнакомый, весь заснеженный человек.

— Там... в мешке... гостинцы...— произнес он хрипло.

ГЛАВА ПЯТАЯ

I

В тот вечер, когда Маркин добирался пешком из Кедровска в Сивеньки, Гава сидел дома и дожидался возвращения Феди. От него он ожидал добрых вестей и в придачу к ним — денег, полученных от продажи краденой лошади.

Поздним вечером в окно постучали.

«Зачем это он? Не знает разве, где входить?» — Гава набросил на плечи шинель.

Постучавшийся оказался не тем, кого ожидал хозяин. Гава открыл дверь и увидел невысокого человека в залатанной шубе и малахае, давно не стриженная борода спуталась.

— Что вам нужно, гражданин? — спросил Гава.

— Об одном важном деле хотел бы вам рассказать, товарищ начальник,— глаза незнакомца колюче вонзились в Капитанова.

Гава пригласил незнакомца в дом. Неизвестный сам прикрыл дверь. Уселись друг против друга за столом.

— Я, Гаврила Егорыч, о добрых старых временах, проведенных с тобою вместе, пришел напомнить...

— О каких таких временах? Я вас не знаю! — быстро и жестко сказал Гава.

— Стареть, знать, начал, Гаврила Егорыч, памятью слабеешь. Не годится это для начальника уездной милиции. Быстро же ты позабыл о верных твоих товарищах. Нехорошо, нехорошо!

— О каких вы товарищах говорите?! — разозлился Гава.— Повторяю вам: я вас не знаю. Скажите, что вам от меня нужно, и...

— Погоди, Гаврила Егорыч. Зачем же так кричать? Так и голосовые связки можно надорвать, а ведь они милицейскому работнику во как нужны. Остынь, успокойся. Сейчас я тебе напомню кое-что.

Гава тихонько опустил руки к ящику, приоткрыл его. Но это заметил его гость и, напряженно следя за руками хозяина, продолжал совершенно спокойно. Каждое слово его падало на голову Гавы тяжелым булыжником.

— Не притворяйся, Гаврила Егорыч. Ты же отлично знаешь, кто я. Ты, товарищ начальник, не мог забыть

Сивеньков и той встречи в доме твоего отца, когда мы вместе с тобою обдумывали, как перестрелять всех местных коммунистов, свернуть шею Зубкову и захватить власть в свои руки. Ну, это-то ты хорошо должен помнить! Может, и о складе оружия запамятовал, и о том, как его из-под самого твоего носа утащили советчики?! За такое ротозейство тебе еще, товарищ начальник, придется держать ответ в свой час и в своем месте. По твоей милости мы принуждены были оставить село. Ты же, милостивый государь, когда мы отступали, немедленно примкнул к красным и ударил нам в спину. Двоих сразил наповал. Полагаю, до сих пор гордишься этим, и это до сих пор, верно, украшает твой послужной список. И это мы тебе напомним, когда пробьет наш час. Это говорю тебе я, Батыга, командовавший отрядом при взятии Сивеньков... А-а-а, вижу, ты начинаешь припоминать? Только бледнеть-то зачем?.. И к тому же никакого Батыги сейчас нет, а есть Соров, Захар Иванович Соров перед тобой! Запомни это!

Гава, оглушенный, молчал. Его мог спасти, избавить от пришельца лишь Федя, но тот не появлялся. Ничего не оставалось, как продолжать разыгрывать прежнюю роль. И Гава сухим, смятым голосом заговорил:

— В третий раз спрашиваю: что вам угодно?

— Вот что, товарищ Капитанов. Ты человек изворотливый. Я уверен, что в думе-то ты остался эсером, то есть во всем нашим. А то, что так замаскировался, влез в чужую душу,— так ведь это ж очень хорошо при нынешних обстоятельствах. Начальник милиции — да это же как раз то, что нам сейчас нужно. Умен, умен, ничего не скажешь? А вот у меня так не получилось. Я сейчас вне закона. Любой твой милиционеришка может задержать — и к ногтю, как ту тифозную вошь. Документик мне, голубчик, нужен до зарезу, паспортишка — за ним-то я и пожаловал к тебе в столь поздний час. Это и будет твой первый взнос на покрытие всех твоих долгов перед нами...

— Я знать не знаю ни Батыги, ни Сорова. Я коммунист, начальник милиции и сейчас же прикажу вас арестовать! — Гава полез, было, в ящик стола, но гость упредил его:

— Тихо, тихо, господин прапорщик, зачем же так волноваться?! — спокойно сказал Батыга и наставил на хозяина свой наган.— Пикни у меня еще — пристрелю, как

бешеного пса, и это будет лишь самой мизерной ценой за твое предательство! Так что закрой свой ящик, а ручки свои белые положи на стол. Вот так, умница... А теперь слушай: покамест мне нужно от тебя немногое — паспорт.

Гава встал и, чувствуя свинцовую тяжесть в ногах, ушел в угол, где у него стоял небольшой сейф. Вернулся к столу с новеньким бланком для паспорта. Дуло Батыгиного нагана провожало его.

— Садись, дорогой мой, и заполняй этот документик.

Гава хотел что-то сказать, но Батыга не дал — заговорил сам.

— Пиши, пиши! У меня нет времени для дружеских бесед. Фамилия — Соров, как ты изволил уже слышать. Имя — Захар, по батюшке — Иванович. Написал? Ну, остальное выдумывай как угодно. Положим, я крестьянин, родился в Баклушах, проживаю в Кедровске, работаю дворником. Заодно сделай уж и прописку. Вот тебе моя карточка. Не забудь проставить свою подпись и печать приложить. Ну, да ты знаешь, как это делается. Только дыхни, дыхни на печать-то, чтобы пояснее, пожирнее получилось. Так, так... Видал, какой ты мастер! Ишь, как наловчился! Говорят, давно приторговываешь паспортишками. И правильно делаешь: спрос сейчас велик на этот документик... Ну, ты все там вписал? А нука, прочитай, не наврал ли чего! Нет, молодец, да и только! — Батыга выхватил из рук Гавы паспорт.— Вот пока и все. Провожать меня не надо, товарищ начальник. Так и для тебя и для меня лучше.— Батыга поднес два пальца к малахаю.— Будь здоров, товарищ начальник. До скорого свидания! Как видишь, совсем не прощаюсь с тобой. Ну, бывай!

II

На кедровском вокзале пассажиры давно ожидают поезда. Кто прикорнул на своих вещах, кто режется в карты — по лицам людей не видно, чтобы они верили в скорый приход поезда.

В зале ожидания, недалеко от двери, стоит небритый низкорослый человек, зажав между ног громадный чемодан. Мужчина очень волнуется: и туда, и сюда кинет взгляд, либо ищет кого, либо опасается кого. Послы-

шался детский плач. Мужчина тотчас посмотрел в ту сторону, затем опять повернулся к двери, выходящей на перрон: человек нетерпеливо ожидал поезда.

Ударил колокол: к станции приближался саратовский пассажирский. Заслышав сигнал, люди устремились к двери и сейчас же наглухо закупорили ее. Что тут творилось! Плач детей, истошные крики женщин, отборнейшая ругань мужиков, мольбы — все соединилось в невообразимый гвалт.

Рядом с проводницей, проверявшей билеты, стояли два парня. Когда очередь дошла до небритого, один из них, будто помогая, взял его чемодан, второй сказал:

— Здравствуй, Фролов! — Он назвал первую, пришедшую на ум фамилию.— Подумать только, какая встреча! Пойдем-ка со мной, у меня есть новость...

— Гражданин, вы ошиблись. Я не Фролов. Моя фамилия — Соров.

— Соров? Ах да, ну, конечно же, Соров! Чуть было не забыл. Ты уж прости, браток. Отойдем-ка в сторонку, а то людям мешаем войти в вагон.— И парень взял из рук проводницы билет Сорова-Батыги.

В одной пустующей комнате вокзала молодые люди потребовали от него документ. Тот вынул паспорт.

— «Соров Захар Иванович...» — читал один из парней.— И печать есть, и подпись, и карточка твоя — все, как полагается,— добродушно и вроде бы уважительно говорил он.— А другие документы имеются?

— Какие еще документы? Это издевательство! Я буду жаловаться!

— Ах, вот как! Ну, что поделаешь? Захотелось нам глянуть на другие ваши документы. На военный билет, скажем. Ах, не желаете?.. Ну, так нам самим придется открыть ваш чемодан — вдруг военный билет лежит там...

Только один из молодых людей нагнулся к чемодану, Соров выхватил наган. Второй парень, однако, выбил его из руки Батыги. Открыли чемодан, нагруженный до самого верха оружием, патронами, динамитом.

— Ну, я же говорил, что он у тебя здесь, военный билет твой, господин Батыга! Давненько мы ждали свидания с тобой! — с прежней невозмутимостью и даже доброй улыбкой сказал один из парней, по-видимому, старший.

III

Секретарь укома только что вошел в свой кабинет, как к нему постучались.

Петр Андреевич Камакшев, не присаживаясь к столу, пошел навстречу первому посетителю. Им оказался председатель ЧК. Завидя его, Петр Андреевич грустно улыбнулся:

— Ну, конечно же, ни о выполнении плана по продналогу, ни о строительстве в городе, ни о других приятных вещах ты мне сейчас не будешь докладывать. От тебя хороших вестей не жди. Опять что-нибудь о бандитах... Ты не обижайся: каждый из нас занят своим делом.

Чекист по привычке поправил на себе ремни, сел напротив Камакшева:

— Давно, Петр Андреевич, разыскивали мы одного человека, ближайшего сподвижника Попова. По нашим сведениям, он был единственным, кто остался не пойманным из всего отряда. И вот вчера на вокзале наконец-то задержали его. В чемодане арестованного оружие. Допрашивал его сам. В конце концов назвал себя, ехал в Саратов, где орудует шайка террористов.

— Ты сообщил об этом в Саратов?

— Разумеется. Материалы допроса, адрес террористов, вернее, их штаба — все передано в губЧК.

— Как зовут вашего арестанта?

— Настоящая его фамилия — Батыга, Фрол Иванович Батыга. А по паспорту — Захар Иванович Соров.

— У него и паспорт есть? Кем выдан?

— Вот это, пожалуй, главное, почему я тебя так рано побеспокоил. Паспорт выдала ему наша уездная милиция. На документе стоит подлинная подпись Капитанова...

Камакшев встал из-за стола и начал ходить по кабинету.

— Вот оно как! Ты помнишь наш разговор о нем?..

— Как видишь, Петр Андреевич, мы не ошиблись.

— О самом Капитанове что-нибудь рассказывал этот Батыга-Соров?

— Все рассказал.— И чекист сообщил секретарю укома все, что узнал о Капитанове от Батыги: и то, как Гава создавал склад оружия на Ильмене, и то, как ждал он прихода Попова, как планировал расправу с

коммунистами в Сиваньках, и как намеревался захватить там власть в свои руки, и как потом, убедившись, что дело их проиграно, начал сам стрелять в убегающих бандитов, чем и запутал местную власть и партийную ячейку, которая приняла его потом в партию.

— Вот негодяй!.. Как был подлецом, подлецом и остался. Да и меня провел, мерзавец, с этим элеватором... Ох, как еще не умеем мы распознавать людей, как много нам надо еще учиться! — сокрушенно воскликнул Камакшев.— Не исключено, что всю историю с диверсией на элеваторе подстроил он сам.

— Что теперь будем делать, Петр Андреевич?

— Во-первых, большое спасибо. Во-вторых... Может быть, не во-вторых, а во-первых, надо арестовать Капитанова.

— Он уже арестован.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

I

Отого ли, что украли лошадь, от простуды ли Константин Павлович слег. Лежал тихо, маялся в сильном жару — ни на что не жаловался, ничего не просил.

Двойное горе навалилось на Прасковью Карповну: пропажа лошади и болезнь мужа. Но такой уж она была, эта сухонькая, состарившаяся прежде времени женщина,— терпела, не выносила на люди своих печалей, для них у нее было надежное хранилище — ее сердце. Лишь выйдя в сени, в полном одиночестве, она давала волю слезам. Или когда уходила на гумно за кормом для коровы и овец. Взвалит вязанку на спину и идет по дороге вся в слезах, а перед селом насухо вытрет глаза и станет каменной...

Весть о пропаже лошади у Маркиных наутро распространилась по всему селу. Люди вздыхали и охали, понимали, что большего несчастья в крестьянской семье, пожалуй, не бывает. Жалели и захворавшего Константина Павловича. Навещали его, старались успокоить, поддержать душевно. В длинные зимние вечера у постели больного подолгу просиживал Алексей Андреевич Зуб-

ков. Был организован поиск гнедухи, но результатов пока не было. Лошадь хоть и не иголка в стоге, но попробуй ее найти!

По-иному восприняли эту новость богатые сивеньчане. Они не скрывали своей радости, надеялись, что уж теперь Маркин укротит свою гордыню, придет к ним на поклон, отойдет от «партейцев»...

Тяжелее всех, пожалуй, переживал пропажу гнедухи Серега. Пройдет по двору, глянет на телегу или соху, аккуратно прислоненные к плетню, и слезы горохом посыплются из глаз. В конюшню войдет — она пустая, и опять глотает слезы Серега: нету гнедухи. Некому теперь месить месиво, некого поить водой. Даже навозный дух выветрился из конюшни, без которого крестьянский двор — не двор. «Где же теперь наша гнедуха? Кто на ней ездит! Может быть, ее бьют нещадно, держат голодной?.. Может, она пытается, но не может убежать от этих душегубов?» — часто думал Серега.

Однажды, придя из школы, он принялся чистить снег у своих ворот и так увлекся этим делом, что не заметил, как преодолевая сугробы, к нему приближался почтальон.

— Бог помочь, Сергей!

Серега разогнулся и поправил шапку, наползавшую на глаза.

— Бог помочь, говорю! — повторил свое приветствие почтальон и раскрыл сумку. — Вот газету тебе принес, «Якстере теште», по-эрзянски напечатана.

Серега давно ждал этого часа. Сразу же отбросил лопату и спросил с некоторым недоверием:

— Правда, «Якстере теште»?

— Неужто обманываю! На вот, получай... Как здоровье отца? Ну, ну, кланяйся ему от меня. Скажи, чтоб выздоравливал поскорее. Сам бы вошел в избу, да некогли мне, — и он передал Сереге свежую газету.

Серега рванулся домой, забыв даже поблагодарить почтальона. Тот покачал головой, удовлетворенно крякнул, поднял лопату, воткнул ее в снег и пошел вдоль домов. «Ишь, как стреканул! Ну, читай, читай, паршивец!» — ворчал себе под нос старик.

Серега вихрем ворвался в избу, прижав газету к груди.

На ту пору у них гостевал Алексей Андреевич Зубков.

— Папанька, посмотри-ка! Газета! Почтальон при-

нес. По-эрзянски пропечатана! — вбежав в переднюю, кричал он.

Константин Павлович взял из рук сына газету, повертел ее в своих высохших руках, посмотрел страницы и вернул сыну. Серега сейчас же вылетел с нею на улицу — надо было немедля показать Косте, Ерме и Лизе, пускай и они поглядят.

Заторопился и Зубков — сказал, что его ждут какие-то дела в сельсовете, а сам спешил увидеть «Якстере теште», которую выписал и тоже ждал с нетерпением.

II

Вечерело, когда Серега и его друзья собрались вместе. На этот раз их прибежищем была просторная печка Кости Ярыгина. На печи было тепло, уютно. И чтобы можно было читать, Костя зажег лучину. При слабом ее свете Серега развернул газету. «Якс-те-ре теш-те», — прочитали хором.

— Вот здорово! Все слова по-эрзянски!.. Погодь, куда ты суешь голову, ничего за тобой не видать! — Костя отодвинул локтем большую, круглую голову Ермы, держа в одной руке лучину. — Читай, Серега!

Серега перво-наперво прочел заметку, в которой рассказывалось о том, как в одном селе кулаки подожгли дом коммуниста. В конце корреспонденции вместо имени автора было проставлено: «Сятко» [1].

— И-и, сятко! Почему сятко? Разве она может писать? — удивлялся Костя.

— А зачем же они подожгли? Разве он плохое что сделал? — возмущалась Лиза.

Читающий не успел ответить на все эти вопросы, как лучина в руках Кости затрещала, и искорка от нее попала за ворот Ерме.

— Ва-а-ай! Горю! — заорал мальчишка.

Лучина погасла, и на печке стало темно.

— Завизжал, как поросенок, и лучину потушил! Как теперь будем читать газету? Спички-то мамка спрятала, — укорял товарища Костя.

Все притихли. И совершенно неожиданно для ребят белесенькая и тоненькая, точно прутик, Лиза, их одноклассница, дала бедному Ерме подзатыльник:

---

[1] Сятко — искра.

— Не мог потерпеть! Подумаешь, малюсенькая искорка на него упала! Теперь вот беги за спичками домой.

Костя сжалился над Ермой. По-кошачьи ловко соскочил с печки, выхватил на шестке тлеющий уголек, подул на него и зажег лучину. Ребята повеселели.

— Почему, спрашиваете, подписано «Сятко»? — начал Серега, когда робкий свет лучины вновь озарил лица. Начав столь бойко, он вдруг застопорился, потому что и сам не знал, что бы означала такая подпись под заметкой. Поразмыслив, решил все-таки объяснить так: — А вот почему... Она, эта искра, очень даже жгуча. Слышали, как Ерма наш заорал!.. На него упала только маленькая искорка, а если бы упала целая искра, знаете, что бы с ним было!.. Небось теперь по-собачьи скулят те кулаки, про которых сятко пропечатала...

Серега говорил, но до конца своим словам не верил. «Завтра же спрошу Ефросинью Матвеевну, что же в действительности это такое — сятко?»

Чтение продолжалось. Ерма честно отбывал наказание: все время держал лучину, подсвечивая чтецу. Под корреспонденциями стояли подписи одна удивительнее другой: то «Вергиз» — волк, значит; то «Неиця», в переводе на русский — видящий; то «Ендол» — молния то есть; а рядом с молнией, как и полагается — «Пурьгине» — гром, стало быть; попадались подписи с именами людей, означает как «Тумо Петя», что Петя Дуб.

Ребята слушали и потешались над странными подписями, скрывавшими собственные имена людей за всеми этими волками, видящими, молниями и громами. Оживившись, Серегины слушатели опять стали размахивать руками, толкать друг дружку.

— Осторожней, ты! Газету порвешь! — прикрикнул чтец на Петярку и, подняв голову, ткнулся головой в лучину, которую держал Ерма. Запахло паленым. Но нет худа без добра: это маленькое происшествие вернуло мальчика к действительности. Серега вспомнил, что ему пора в ликбез. Он сообщил об этом друзьям, и все они вмиг скатились с печки.

III

Газету Серега захватил с собой: не мог не похвастаться перед своими взрослыми учениками. С этого и начал:

— Вот газету принес. «Якстере теште» называется, —

он развернул ее на столе. Все нагнулись над газетой, но прочитать ничего не смогли: очень уж маленькими буковками там все написано. Серега прочитал одну заметку, другую. Слушатели его удивленно ахали.

— По-нашему все! — вскричал страшно довольный Иванкин Иван. — Читай, читай еще, Сергей!

Серега прочитал почти всю газету.

— Это вроде про наших богатеев там пропечатано, — сказала одна женщина, обычно очень молчаливая.

— Надо бы и до наших иродов добраться, — собираясь домой, поддержала подругу Окся.

— Ты, Окся, у нас бойчее всех. И писать теперь умеешь. Возьми да напиши. Только не посылай без меня. Приноси ко мне для проверки. Проведем с тобой ночушку, тогда сразу напечатают, — расхохотался Иван.

— Охальник ты и есть охальник! — сказала Окся уже за воротами и толкнула Ивана в сугроб.

— Окся — писатель! Пи-са-тель! Бабыньки, мужики, дайте ей дорогу! Видите, ей тропа наша уже тесной кажется! — потешался Иван.

На второй день в школе Серега рассказал о газете Ефросинье Матвеевне и спросил, отчего это там такие чудные подписи. От нее Серега услышал впервые такое мудреное слово, как «псевдоним», и почему люди выбирают его для себя.

Вернувшись домой, Серега опять собрал товарищей и развернул перед ними новый номер газеты.

— Надо, ребята, чтобы об этой газете знали все в Сиваньках. Так сказала сегодня Ефросинья Матвеевна.

— А что будем делать? — нетерпеливо спросил Костя.

— Ты бери, Костя, вчерашнюю газету, а я — сегодняшнюю. Прочитаешь у себя дома, а я — в ликбезе. Завтра передадим их другим ребятам, и они прочитают. Через неделю все село будет знать про «Якстере теште».

— А почему Косте, а не мне?! — обиделся Ерма.

— И я бы прочитала папаньке и маманьке! Мы тут все равные! — пропищала Лиза. — Если так, давайте жребий бросим. Кому достанется, тот пусть первым и читает.

Одна газета по жребию досталась Лизе, другая — Ерме. Но Ерма, развернув бумажку, в которую была закатана спичка, прочитал свое имя и великодушно объявил:

— Газеты Серегины, пускай он возьмет сегодняшнюю. А назавтра вы отдадите мне без жребия. Согласны?

Довольные, ребята разошлись.

Богатые сивеньчане, как и ожидалось, встретили газету настороженно, с большой подозрительностью. Теперь эти лягушата, думали они про бедных своих односельчан, расквакаются еще пуще. Боясь, как черт ладана, газеты, они сочли за лучшее бойкотировать ее, то есть не видеть, не слышать и, упаси господи, держать в руках, — порассовали всюду эти злющие бумажки, того и гляди наступишь, как на ядовитую змею... Нет, нет, подальше от этой городской вредной пачкотни!..

IV

А Серега Маркин только и жил этой газетой. Вот и в эту ночь долго не мог заснуть. Теперь он думал о тех, кто печатался в «Якстере теште», — счастливые люди! Лежа на печке, Серега рассуждал мысленно: «Конечно же, все они командиры и председатели, иначе кто бы их печатал. Таких людей все знают, как нашего дядю Петю. Его даже сам Ленин знает, они встречались. А для того, чтобы их никто не узнал, они и подписывают свои заметки поразному: «Ендол», там, «Пурьгине», «Сятко»... Ой, хитряги! А ежели мне написать что-нибудь? Где там! Меня никто и не знает. Я, чай, не писарь какой. Никто и не глянет на мою заметку. А почему бы, в самом деле, не попробовать? Чай, не побьют. Дядя Петя сам говорил мне в больнице: «Вместе, Серега, с тобой проливали кровь за Советскую власть! — Мальчик провел ладошкой по рассеченной щеке и опять усомнился: — А многие ли знают, как избивали меня бандиты плетками? В Москве, может, тыщи таких, как я. Кому нужна моя заметка?..»

Однако Серега не из тех, кто быстро отказывается от задуманного. Он тихонько слез с печки, зажег в задней избе коптилку и стал писать. Перво-наперво решил рассказать в своей заметке о том, как работает ликбез в Сивеньках, как его односельчане встретили эрзянскую газету. Не забыл помянуть добрым словом председателя сельсовета Зубкова и свою учительницу Ефросинью Матвеевну Макарову, которые первыми взялись за ликвидацию неграмотности в Сивеньках. Не забыл и про Бо-

рякина Тюму, который устраивал такие хорошие концерты в нардоме, названные им живой газетой.

Серега исписал еще два тетрадных листа, перечислив всех односельчан, которые хорошо учатся в ликбезе. Из тетрадочной же обложки смастерил конверт, вложил в него листки, заклеил вареной картошкой и на другой день, направляясь в школу, тайком сунул в почтовой ящик на сельсоветской стене. О заметке своей помалкивал, не рассказывал даже отцу и Косте. К корреспонденции Серега присовокупил коротенькую справку о самом себе — кто он и откуда. Под заметкой попросил проставить мордовское слово «Тонавтниця» [1].

Начиная со следующего дня, мальчик начал искать в «Якстере теште» именно это слово. И однажды увидел его — так подписался какой-то селькор из Сибири. Серега расстроился, осердился на сотрудников газеты и перестал ждать.

А недели через три, когда автор и сам стал забывать о своем сочинении, почтальон принес очередной номер газеты. Серега сидел за обеденным столом и, в окно увидел почтальона, встретил его, по обыкновению, в сенях.

— Бери, ременное ухо, — проворчал тот и сунул газету.

Серега сейчас же ее развернул, рассеянно, скорее по привычке, посмотрел, нет ли его «Тонавтници». Глянул на первую страницу — и окинулся жаром. На самом видном месте крупными буквами было напечатано: «Ликбез в Сиеньках». Быстро взглянул на подпись. Сомнений не было: «Тонавтниця»! Сперва прочитал заметку бегло, второй раз — более внимательно, потом еще и еще. Да, это писал он, Сергей Маркин. Надо бы прыгать, скакать от радости, а он почему-то оробел, смутился, словно бы совершил что-то непотребное. Что же ты, Серега, стоишь, как неприкаянный, в сенях? Беги скорее в избу, показывай первую в твоей жизни корреспонденцию отцу и матери, читай ее им и голову держи выше!..

Нет, голова была опущена, когда он вошел в избу и отдал отцу газету. Есть не хотелось, и к обеду он даже не притронулся.

— Что ты там делал раздемши? — спросил Констан-

---

[1] Тонавтниця — учащийся.

тин Павлович. — Поди, продрог весь — лихоманку хочешь подхватить?

— И подхватит! — поднялась мать.— Сколько раз говорила, не выбегай так...

Но Константин Павлович что-то уже высмотрел в газете.

— Погоди, погоди, мать,— остановил он жену,— послушай-ка, тут вот что-то про наше село пропечатано.— Ишь ты! И все — правда, в самом деле так! А подпись чудная. Кто бы это мог быть?

Серега пробормотал совсем уже потерянно:

— Пап, это не я... Это, это...— и он замолчал, еще ниже опустив голову.

— А ты что это пригорюнился, сынок? — поднимаясь из-за стола, встревожился отец.— У нас и в мыслях нет, чтобы эту заметку написал ты. Оно бы хорошо, да рановато, пожалуй, тебе. А славно было бы: читаю заметку, а под ней пропечатано — Сергей Маркин!

— Да-а-а, я так боялся! — проговорился вдруг Серега и, видя, что деваться некуда, попросил отца: — Пап, ты никому не сказывай, а то засмеют...

— Ну, конечно же, не скажу. Но ты у нас молодец!

Серегино немудреное сочинение взбудоражило Сиваньки. О нем говорили в сельсовете, в школе, в ликбезе, в нардоме. Всем было странно и удивительно, что в далекой Москве, оказывается, знают о Сиваньках...

Богатые мужики откровенно встревожились. Они глядели на это событие со своей колокольни: «И у нас завелся змееныш, будет теперь доносить обо всем в столицу — житья от него не станет. И кто бы это мог быть? Не из дому ли Маркиных пописывают? Там первыми начали получать газету. Неспроста... Костью бы застряла у них в горле эта звезда!»

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

I

Миновал еще год. Ничего вроде не изменилось в Сиваньках. Вот только у школьников большие неожиданности. По окончании начальной школы они не прекратили занятий... Ефросинья Матвеевна на свой страх и риск,

учит их по программе пятого класса, готовит для поступления в школу второй ступени.

Продолжались занятия и в ликбезе. Третий год обучает Серега взрослых. Нынешним летом и они закончат учебу — все умеют хорошо писать и читать. Теперь во многих домах потянулись к «Якстере теште», стали появляться даже селькоровские фельетоны. Особенно смешным, ядовитым был фельетон о Тетереве Микижке и Солдатове Проне: корреспонденция была снабжена карикатурой — неизвестный художник изобразил Микижа сидящим верхом на... Медведице. Одной своей лапищей он зачерпывал рыбу, а второй рукой грозил всем. Из широко раскрытого рта вылетали слова: «Не дам никому! Моя Медведица!» Проня был нарисован стоящим у своей лавки с огромным животом, который должен был обличать в Солдатове буржуя.

Сивеньки от души хохотали. Не до смеха было лишь Тетереву и Солдатову. Первый не мог уже безнаказанно промышлять в реке, а рядом с лавкой Прони была открыта сельская кооперация.

II

Туго пришлось Маркиным без кормилицы-лошади. Даже не на чем было привезти тростник с Ильмени для топки. С грехом пополам собрал Константин Павлович деньжонок и собрался однажды в Базарный Карабулак, где надеялся купить какую-никакую клячонку. Неделю не было дома отца, но зато объявился он не с клячонкой, а с жеребчиком-четырехлетком. Серега и мать выскочили из дома во двор — смотреть покупку. Радости их не было границ. Доволен был и Константин Павлович: наконец-то огоревал лошадку и, сдается, неплохую.

Наскоро позавтракав, отец с сыном вновь вышли на подворье: им не терпелось проверить жеребца в деле. Работа отыскалась тут же — еще бы ее не было на крестьянском дворе! — решено было вывозить навоз. Телегу нагрузили быстро, а вот дальше все застопорилось.

Вывели из конюшни жеребца, стали надевать хомут,— жеребец не дает, задирает голову. Наконец хомут оказался на шее лошади, теперь хозяин никак не мог поставить коня в оглобли — тот сучил ногами и пытался встать боком.

— Что за оказия? — дивился Константин Павлович.— Возьми его, не дает себя запрячь, да и только. Видать, не хочет нынче работать.

Еще сложнее было с дугой. Когда ее перекидывали через лошадиную шею, жеребец испугался, начал биться в оглоблях.

Серега ухватился за узду, стал успокаивать коня. Отец тем временем осторожно прилаживал остальную сбрую. Вот уж и подтянута супонь, перекинут чересседельник, прицеплены к узде вожжи, лошадь взнуздана. Оставалось только подвязать подпругу и поднять выше чересседельником оглобли. Но жеребец встал на дыбы, яростно захрапел, Серега испугался и выпустил узду, бросившись прочь. Жеребец лягался, выбрасывал то задние ноги, то передние, содрогаясь всем могучим телом, оглашал двор громким ржанием...

Хозяин ухватил-таки его за шею, стал оглаживать, говоря что-то ласковое. Попросил сына принести два пучка соломы — подоткнул их под узду так, чтобы жеребец не мог видеть, что делалось справа и слева. Потом тихо взял вожжи, легонько шевельнул ими, намереваясь направить коня в открытые ворота. Но от прикосновения вожжей жеребец вновь взвился на дыбы, а потом, угнув голову и вертя ею, начал лягаться, сломал одну оглоблю... Храп коня и хряст переламывающегося дерева до смерти перепугал Серегу. Он стоял в стороне, дрожал, как в лихорадке, кричал сквозь слезы отцу:

— Папанька, убьет! Папанька, отпусти его!

Трудно сказать, как бы повернулось дело, если бы на тот час не объявился сельский коновал Маркитан, проходивший куда-то мимо Маркиных. Почуяв свое, любезное его душе, дело, он тут же вбежал во двор — это случилось в тот миг, когда Константин Павлович двумя руками с великим трудом удерживал жеребца. Пот градом катился по лицу хозяина.

— Ты, сват, никак жеребчика купил? — спокойно осведомился ветеринар.— А отчего он так, едят те мухи, капризничает? А ну-кось, дай гляну!..

Маркитан ухватил жеребца под уздцы. Обхватив свободной рукой голову жеребца, выпустил на мгновение узду и ловко вытащил толстый язык лошади в сторону, деловито пересчитал зубы, хлопнул раз-два по животу, погладил круп. Жеребец от всех этих коновальих действий вздрагивал немного, вертел головой, но Маркита-

на это нимало не тревожило. Он окинул коня глазом большого знатока и заключил:

— Он, Палыч, того... В упряжке не ходил. Жеребчик твой, то есть, верховой. К упряжке не приучен.

Константин Павлович пожалел, что там, в Базарном Карабулаке, не испробовал лошадь в упряжке, а целиком доверился хозяину, божившемуся, что жеребчик его «годится хоть куда».

— Что же мне теперь делать с ним? — обратился Маркин к лошадиному богу в обличье еще не опохмелившегося ветеринара.— Все жилы из меня вымотал, проклятый!

— Э-э-э, сват, нашел об чем тужить! Я это, едят те мухи, мигом. У меня он послушным станет, как твоя буренка, хоть дои его.

— Как же ты его приучишь? Я вот попробовал — вишь, чего вышло? — Константин Павлович кивнул на сломанные оглобли.

— Через мои руки, сват, сотни лошадей прошло, и не такие, а форменные звери. Всех я, едят те мухи, выдрессировал. Сказывали мне потом, что некоторые из обученных коней в цирке на головах ходили. А твоего мы в момент поставим в оглобли. Мне это раз плюнуть. Тоже мне Росинант!.. Ты только дозволь, сват, а я уж...

У подворья Маркиных, у раскрытых ворот, стали собираться зрители. Маркитан не подозревал, что брошенное им мимоходом незнакомое словечко «Росинант» будет подхвачено его односельчанами и намертво приклеено к жеребцу Маркиных как кличка.

— Ну, как ты, Палыч, согласный, чтобы я, значит, обучил? — спросил коновал, которому, при наличии зрителей хотелось поскорее блеснуть своей хваткой.

— А к кому же мне еще обращаться! Пары вон подымать уж надо, а этого черта в телегу не впряжешь, не то что в соху,— сказал Константин Павлович.

Маркитан еще больше заважничал:

— Не беспокойся, сват. Я из него артиста сделаю, посмотришь, из цирка саратовского приедут, можешь любую цену заломить...— говорил ветеринар, выводя жеребца за ворота. Ни хомута, ни седелки с лошади не снял, только к узде вновь прицепил вожжи, из-за пояса вытащил длинную плетку, которая, видать, входила в набор его обязательных инструментов и висела рядом со зна-

менитой, черной, как прах, сумкой. Изготовившись таким образом, коновал отскочил в сторону и стал подпрыгивать вокруг лошади. Шепча что-то ласковое, он подойдет к ней почти вплотную, предательски огреет плетью и тут же отскочит. Когда жеребец пустится вскачь или встанет на дыбы — начнет подергивать за вожжи. Подобные действия он повторил много раз. В толпе — веселое оживление. Большинство одобряло Маркитанову науку, и только малая часть собравшихся жалела лошадь.

Одобрительные возгласы еще больше подогрели ветеринара. Он пуще стал гонять жеребца и подхлестывать его. Затем предостерегающе поднял руку и ухватился за подуздок. Прошелся несколько раз перед зеваками и после этого торжественно сказал Константину Павловичу:

— Держи, сват. Не лошадь — артиста тебе вручаю. Бери и вспоминай добрым словом Маркитана!

Константин Павлович протянул руку уже к поводку, но Маркитан остановил его: оказывается, все это он сказал для публики. Вся же операция по обучению лошади была впереди.

— Погоди, сват, я покамест ему не верю. Давай-ка запряжем жеребца в телегу. Думаю, пойдет как миленький, не нарадуешься. Ал-ле! — вскричал Маркитан и дернул жеребца за недоуздок.

— Телега-то не годится. Видишь, оглобли переломал...

— Это даже к лучшему, сват. Мы его в сани впряжем! — Маркитан, кажется, и вправду обрадовался: — Мы сейчас выгоним из него всех блох!

В противоположность коновалу хозяин, кажется, совсем пал духом и лишь безвольно махнул рукой: делай, мол, что хочешь.

А Маркитану только того и нужно было. С помощью мужиков выволок сани на улицу, быстро запряг в них жеребца, намотал на руку вожжи и взмахнул плеткой. Жеребец рванул с места и помчался рысью. Серега успел упасть в сани брюхом и отчаянно закричал:

— Отстань от нашего жеребца, коновал проклятый! Не мучь его! Не да-а-ам!!!

Но слов его никто не слышал. Голос Сереги лишь разрывал материнское сердце да вывел из оцепенения отца. «Вай, загубит мне мальчишку, басурман! И лошадь

угробит!» — выскочила за ворота Прасковья Карповна:

— Серега-а-а! Слазь! Сейчас же слазь с саней!

Но сани были уже далеко. Жеребец скакал во всю мочь. За санями клубилась зеленоватая пыль. Маркитан стоял на санях в полный рост и, размахивая над головой плетью, опускал и опускал ее на спину бешено несущейся лошади, которая не разбирала ни дорог, ни тропинок.

На пути оказался чей-то огород, жеребец перемахнул через плетень и понесся по высоченной конопле, оставляя за собой широкую просеку, затем пустился по огуречным и капустным грядкам.

Серега вывалился из саней на огурцы. Маркитан мчался дальше. Жеребец доскакал до следующего плетня, перемахнул и через него. Но тут сани зацепились за толстый кол, веревочные завертки лопнули, сани остановились, а жеребец поскакал в одних оглоблях, взлягивая и крутя головой. Маркитана выбросило из саней далеко в сторону.

Жеребец в конце концов выскочил на улицу и вернулся к своему двору, где и остановился, роняя на землю ошметья пены. Прибежал сюда и Серега, держа в руке большой зеленый огурец. Лицо его было перепачкано грязью, на щеках — темные потеки от слез. Подойдя к лошади, сунул ей огурец. Но жеребец даже не понюхал Серегиного гостинца.

Константин Павлович завел лошадь во двор, а Прасковья Карповна принялась вытирать лицо сына передником.

Скоро, прихрамывая, сюда вернулся и Маркитан. Закатывая повыше портки, жаловался:

— Едят те мухи, малость ошибся. Не мог удержать, то есть, этого Росинанта, плетку не в той руке держал...

С момента Маркитановой науки прошло лето, осень, наступила уже и зима, а в жеребце не объявилось ожидаемого прока. Правда, теперь он был смирнее мокрой курицы. Стоял покорно, не шелохнувшись, когда запрягали или когда Серега «охаживал» его скребницей, для чего лазал у него даже под брюхом. Работал, однако, не так, как другие лошади. Идя по дороге в упряжке, все время норовил свернуть в сторону. Едок он был отменный, только работы не спрашивай с Росинанта...

III

А время шло, принося с собой и радости и печали. Так подоспел год 1924-й.

В один из морозных январских дней Ефросинья Матвеевна не пришла на урок. Ребята решили: захворала их учительница или вызвали ее в уезд. И, как всегда бывает в таких случаях с учениками, обрадовались, выскочили на улицу, принялись играть в снежки, устраивать кучу-малу. Но вот кто-то заприметил приближающуюся учительницу, и ребят словно вымело с улицы: они уже сидели за партами.

Открылась дверь — в класс вошла Ефросинья Матвеевна. Она, тяжело ступая, прошла к столу и из-под красных век посмотрела на учеников. Ребята нахмурились, по глазам учительницы, налитым великой печалью, поняли, что случилось что-то страшное: Ефросинья Матвеевна умела держать себя и не показывала своих горестей. А сейчас ее словно бы прострелило — стоит и не может сказать слова. На ней черное платье, голова повязана черным полушалком. Руки судорожно мнут платок, подносят его то и дело к щекам, по которым катятся слезы. Слезы сейчас же появились и на глазах девочек, они вытирали их рукавами платьиц.

— Дети...— еле выговаривала учительница.— Вчера... 21 января... умер...— она умолкла, потом продолжала сдавленным голосом: — ...умер... Владимир... Ильич... Ленин...

По классу зашелестело: «Умер Ленин... Ленин умер...» Теперь ученики смотрели на портрет вождя.

Серега уткнулся головой в парту и начал всхлипывать, плечи его дрожали от сдерживаемых рыданий. Костя тронул друга, хотел успокоить, но и сам заплакал.

Учительница попыталась как-то утешить детей.

— Что ж, ребята... Слезами великому нашему горю не поможешь...— Она опять долго молчала. Затем досуха вытерла глаза, подняла их на учеников и как можно спокойнее сказала: — Занятий ни сегодня, ни завтра не будет, ребята. Завтра у нас будет траурный митинг. Приходите вместе с родителями в школу. Сережа, Костя и Лиза сейчас останутся. Они должны мне помочь. Остальные могут идти домой.

Из школы, однако, никто не ушел. Ученики глядели на свою учительницу и ждали, что она прикажет им делать.

По ее просьбе Серега и Костя сняли со стены портрет Ленина. Владимир Ильич был нарисован в кепке и пальто. На груди — красный бант. А за ним — полыхает зарево.

Учительница принесла с собой черные и красные ленты. Девочки обвили ими портрет. Потом сделали из разноцветных бумажек цветы, уложили их в венок, который прикрепили к портрету.

В каждом доме уже знали о постигшем страну несчастье.

На другой день с самого утра к нардому стали стекаться люди. А мороз — рта нельзя открыть, задохнешься, сучья на деревьях потрескивают, постанывают деревянные избы в углах. Лютая стужа. Люди, которым не хватило места в нардоме, стояли на улице, постукивали рукавицами, разговаривали меж собой тихо, словно боялись кого-то потревожить. Малость согревшись в помещении, селяне выходили оттуда, уступая место другим. В маленькой комнатушке нардома совещались коммунисты.

Двинулись от школы к нардому и учащиеся. Они шли стройными рядами, неся перед собой портрет Ильича.

Алексей Андреевич Зубков, посоветовавшись с активом, решил провести митинг прямо на площади против сельского Совета.

Никогда не забыть Сереге того свирепого мороза, своих односельчан, кажется, первый раз в жизни собравшихся вместе, чтобы встретить общее горе, не мог забыть слез, которые были у всех на глазах и которых никто не стеснялся.

Борякин Тюма вынес из нардома красное полотнище. По краям его — черные полоски. Тюма встал со знаменем перед строем, чуть склонив древко, так что один угол полотнища касался снега. Справа и слева встали с винтовками председатель сельсовета Зубков и заведующая школой Ефросинья Матвеевна. Впереди себя они поставили с портретом Ленина учеников, среди которых были Сергей и Костя. Так двинулись к площади. Какая-то женщина разрыдалась. Сразу же поднесли концы шалей к закутанным лицам и другие женщины. Но вот рыдания, скрип снега под множеством ног были проглочены сильными голосами:

Вы жертвою пали в борьбе роковой...

Любимую песню вождя запел Зубков. Песню подхватили Ефросинья Матвеевна, Тюма, коммунисты, комсомольцы, школьники, а потом уж и все, кто двигался в колонне.

На площадь против сельсовета вынесли стол, покрытый красной материей, и один стул. Люди плотным кольцом окружили это место. К столу были приставлены портреты Ленина. Тюма приспустил над ними красное знамя.

Алексей Андреевич снял шапку. Все мужчины и даже ребятишки сделали то же самое. Зубков поднялся на стул и начал говорить. Его сменила на этой трибуне Ефросинья Матвеевна. Были еще ораторы — они поднимались на стул один за другим. Серега слушал, но не слышал их: Ленин умер, это как-то не умещалось ни в его голове, ни в сердце.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

I

Как ни лютовала в тот год зима, весна брала свое. С восходом солнца она одаривала соломенные крыши крестьянских изб хрустальными зубчатыми сосульками, а людей — хоть и не ясными, но радостными предчувствиями. Во всяком случае именно в таком состоянии духа пребывал Петр Андреевич Камакшев, подъезжая по хорошо укатанной дороге к Сивенькам ясным мартовским днем. Лошадь идет ни шатко ни валко. Под уклон прибавит скорости, побежит бегом, на гору взбирается медленно, всхрапывает от натуги. И на ее чуть отвисшей нижней губе сосульки — от жаркого дыхания, бока и спину посеребрил иней.

От того что на сердце у него хорошо, Петр Андреевич говорит почти непрерывно. Умолкнет на минуту, чтобы поправить воротник, и прикрикнет на лошадь, а потом опять повернется к своим попутчикам — секретарю укома комсомола Васе Кузьмину и фотографу Бояркину, работающему в паспортном отделе милиции.

— Хороша весна, товарищи! Ах, как хороша!.. Тебе бы, Бояркин, поэтом быть, а ты не видишь, не замечаешь

такой красы вокруг. Глянь-ка, товарищ фотограф, как искрится, как играет этот чистый, выпавший за ночь, молодой снежок! А вон ту березку видишь?.. Да ты посмотри, в какие наряды нарядила ее весна! Стоит в инее вся, как невеста под фатой!.. Нет, ты не глазами на нее гляди, а душой!..

— Петр Андреевич,— заговорил вдруг за Бояркина Вася Кузьмин,— а вот мне кажется, что тебе не секретарем укома партии надо бы быть, а поэтом.

— Ну, где мне, Василек!.. А любить окружающее нас мы все должны — дорого мы заплатили, чтобы сейчас видеть эту красоту. Не забывайте, ребятки, что Ленин очень любил и людей, и природу, умел по-настоящему радоваться. У него мы должны учиться, кроме всего прочего, еще и великому жизнелюбию.

— Мне, Петр Андреевич, неколи присматриваться к людям-то,— подал свой голос Бояркин,— снимаю их только в профиль и анфас, как скажет начальство.— И фотограф горестно вздохнул.

— «Начальство»! — передразнил Камакшев.— Снимки для документов нужны. Тебе ведь приходится снимать не только для паспортов — так, во всяком случае, мне кажется... А на врага своего иногда бывает полезно посмотреть и прямо в лицо и сбоку. Не стыдись этой работы, товарищ Бояркин. В этих случаях ты снимаешь не просто людей, а делаешь свои снимки как бы со всей старой России, тех ее представителей, которые завтра уйдут в прошлое. Что ты тогда будешь снимать, а? Не знаешь? Хорошо, я тебе скажу. Научись-ка, брат, видеть новые ростки в наших буднях, высвети и сними так, чтобы всем было на диво. В этих вот Сиверьках, думаешь, нету этих новых примет? О, сколько угодно! Только зорче надо смотреть. Понял?

— Понял, Петр Андреевич. Буду стараться. А коли своих глаз не хватит, вы поможете.

— Сам, сам учись видеть, товарищ фотограф.

В Сиверьки приехали к обеду. Лошадь привязали возле сельсовета. Слезли с саней, отряхнули тулупы, припорошенные снежком, накиданным в санки лошадиными копытами. Навстречу уездному начальству вышел Алексей Андреевич Зубков.

— Давненько, давненько ждем вас, дорогие товарищи, — пожимая руки приезжим, говорил председатель.

Направились в сельсовет. Кузьмин и Бояркин захва-

тили с санок какие-то небольшие свертки, завернутые в блестящую бумагу. Гости разделись — в кабинете Зубкова было очень тепло. Расселись на скрипучих стульях.

— Как поживаете, Алексей Андреевич? — начал Камакшев, заправляя под ремень пустой рукав.— Весна, говоришь, на пороге?

— Весна, Петр Андреевич, не заставит себя долго ждать, да вот дела-то идут не очень-то шибко.

— Это почему же?

Зубков хотел ответить, но Камакшев остановил его:

— Ты, Алексей Андреевич, не торопись. Мы не сейчас уедем от тебя. Наговоримся еще вволю. Сперва бы помог определить куда-нибудь лошадку, она притомилась больше нашего.

— Ну, это мы сейчас.— Зубков вышел. В задней избе дал кому-то распоряжение, вернулся в кабинет и обратился к гостям: — Вот что, дорогие товарищи. Сейчас как раз время обеденное. Вы, чай, поозябли в дороге, да и устали. Пойдемте обедать.

— Что ж, это не помешает,— согласился Камакшев, и все поднялись.

В кабинет не вошел, а прямо-таки ворвался Тюма Борякин. Прямо от порога кинулся к Кузьмину:

— Вася, здорово! Какими судьбами? Вот не ожидал! — Тюма одной рукой пожимал руку товарища, а второй — обнимал его.

— Здравствуй, дружище! — в свою очередь приветствовал его секретарь укома комсомола.— Как ты тут — воюешь?

— Воюем понемногу. Нардом пустой не бывает...

Зубков, Камакшев и фотограф не решались прервать беседу друзей. В конце концов Зубков не выдержал — сказал Тюме:

— Ты что же это, товарищ Бояркин, кроме своего начальства, никого тут и замечать не хочешь? Петра Андреевича не знаешь разве?

Тюма смутился, повернулся к Камакшеву, поздоровался с ним, потом с фотографом, сказал:

— Извините, Петр Андреевич, солнце в глаза, не угадал вас.

— Солнце, оно такое...— улыбнулся Камакшев.— Ничего, Тюма, ничего,— и он шлепнул Тюму по плечу.— Мы народ не гордый. Да и не такая я важная птица, чтобы со мной здороваться в первую очередь.

— Вы, Петр Андреевич, в нашем селе самый большой человек.

— Так уж и самый? А Капитанов Гава? Вон как высоко забрался с вашей помощью. Шутка сказать: начальник уездной милиции!

Алексей Андреевич и Тюма примолкли. Особенно неважно чувствовал себя Зубков: кто-кто, а он-то обязан был раскусить этого Гаву. Увидев, что председатель потемнел лицом, Камакшев заговорил:

— Спасибо чекистам, сорвали с него маску. А вас винить едва ли стоит. В ту пору каждая сволочь старалась скрыть подлинное свое лицо и пролезть в партию. Я-то, пожалуй, больше вашего повинен. Знал Капитанова с юности, вместе на германском фронте с ним были, видел, что не туда он гнет, думал — изменился, бывает же такое с людьми. А он... как был волком, так и остался. Ну, а теперь вот попался в наш капкан.

Помолчали. Повеселевший Зубков сказал:

— Ну, хватит о нем, товарищи. Пошли!

— Вы куда же?

— Много будешь знать — скоро состаришься. Обедать — вот куда. Как ты думаешь, накормить людей с дороги надо?

— Конечно, надо! — живо согласился Тюма и тотчас же предложил: — Пошли ко мне.

— Вот что, дорогие наши хозяева,— сказал Петр Андреевич.— Давайте сделаем так: ты, Тюма, бери с собой Кузьмина и Бояркина, а мы с Алексеем Андреевичем пойдем к Маркиным. Я давно в родном доме не был. И вот еще что, Алексей Андреевич,— Камакшев посмотрел на часы.— К четырем соберите-ка коммунистов и комсомольцев. Надо провести общее собрание. Скажите десятнику, чтобы оповестил всех. А ты, Василий, встреться с заведующей школой, потолкуйте с ней, ради чего мы сюда приехали.

II

В доме Маркиных чисто прибрано, на окнах — белые занавески, на подоконниках — горшки и корчажки с цветами.

Прасковья Карповна суетилась, бегала из одной комнаты в другую, помогала гостям раздеться, не знала, где и усадить, как угодить им.

Сереги дома не было, кататься с товарищами уходил на салазках. Пришел, когда взрослые уже пообедали, весь в снегу, лицо раскраснелось, мокрые волосы прилипли ко лбу. Увидев Петра Андреевича, бросился к нему, неловко обнял.

— Ну-ка, ну-ка, погляжу на тебя. О, брат, как ты вытянулся! — дивился тот.— Молодец! Настоящий пионер! Ну, как дела-то?

Сперва Серега не придал решительно никакого значения слову «пионер», на обычный в подобных случаях вопрос ответил обычно: дела идут хорошо. Но потом спохватился, спросил:

— Дядь Петь, а что это такое — пионер?

— Пи-о-нер? Это, Серега, вот что...— И Камакшев стал рассказывать о пионерской организации, только что рожденной в стране и нареченной именем Владимира Ильича Ленина.— Ну как, Серега, будешь пионером?

— Я не знаю, вон мамку надо спросить. Она, может, еще и не пустит,— ответил Серега.

— Каких вы там еще пия-нерев ищите? — обеспокоилась Прасковья Карповна.— И так в селе жизни нам не стало. То лошадь украдут, то еще что... Вот и нового жеребца испортили. Все мстят. А вы там еще каких-то пияне-рев выдумали!..

— Да не «пия-нерев», тетя Проска,— улыбнулся Камакшев,— а пи-о-не-ров, юных ленинцев, внуков Ленина, значит. А Серега наш по своим делам давно уж пионер. Против банды Попова дрался? Дрался, вон даже отметина на щеке. Учится хорошо? Хорошо! И не только сам учится, но учит еще и взрослых.

— Так-то оно так, Петя, но, боюсь, опять будут мстить нам.

— Ты помолчи, мать, больно-то не пугай себя. На плохое Петр Андреевич не толкнет нашего сына,— подал свой голос молчавший до этого Константин Павлович.

— Юный ленинец, внук Ленина — это здорово! — воскликнул вдруг Серега.— Дядь Петь, а портрет, который ты мне подарил, у нас целый. Вон он, опять на старом месте!

— Сохранил? Береги его, Сергей. А теперь послушай, что я тебе скажу,— Камакшев обнял мальчика.— Поговори-ка со своими дружками о пионерах. А завтра соберем всех в школе, будем принимать вас в пионеры. Ну, а теперь нам пора на собрание.

Так в эрзянском селении Сивеньки появилось еще одно новое слово: «пионер». Его подхватил сейчас же Сергей Маркин и пулей вылетел из дома — теперь мать не скоро дождется его возвращения: у сына очень много друзей и всех их он должен непременно увидеть и со всеми поговорить.

III

На собрании обсуждался один-единственный важный вопрос — о проведении весеннего сева. Выступивший первым Зубков нарисовал далеко не радостную картину. Много назвал он безлошадных хозяйств, а это означало, что много земли может остаться невспаханной и незасеянной.

— Вот что, товарищи,— поднялся Петр Андреевич.— Теперь не такое время, чтобы оставить маломощных крестьян без всякой помощи. Вы, может быть, слышали, что во многих местах начали уже создаваться коммуны?

— Слыхали! Вот и нам нужно! — закричал Борякин Тюма.— Даешь коммуну! Я — за коммуну!

Все оглянулись на Тюму и стали шептаться. Петр Андреевич переждал немного, а затем продолжал:

— Ты, Тюма, не горячись. Я ведь о коммуне сказал только для примера. У одних коммунаров дела идут хорошо, а у других — из рук вон плохо. Так что тут надо все как следует обмозговать. Некоторые коммуны сосут государство, как жеребенок матку. Берут от него много, а ему ничего. Это не дело, товарищи. Мне кажется, о коммуне у вас в Сивеньках говорить пока рано. Я бы посоветовал создать ТОЗ. Это, пожалуй, вам больше подойдет.

— А что такое — ТОЗ? — опять закричал Тюма.

— Что, Тюма, не знаешь? Кому еще непонятно? — спрашивал Камакшев и, видя, что люди молчат, продолжал: — ТОЗ — это когда крестьяне договариваются совместо работать. По-русски эти три буквы объясняются очень просто: «Товарищество по совместной обработке земли». У одного, скажем, нет лошади, но есть борона. У другого есть лошадь, но нет семян. У третьего есть лошадь и семена, но нет ни плуга, ни бороны, и работник в доме один. Именно то, о чем тут и говорил товарищ Зубков. Когда же вы объединитесь, то у вас окажутся в достатке и лошади, и плуги, и бороны, и семена. А что не

хватит, уезд поможет. Не достанет, например, семян — отпустим вам взаймы или обменяем на другие культуры. Не окажется плугов, железных борон, сеялок — получите в уезде. И потом сообща выходите в поле, вспахивайте и засевайте делянки тозовцев. Ну, как? По-моему, это хорошо.

Зашумели все разом, так что трудно было разобрать, кто соглашается с оратором, кто нет. Зубков решил навести порядок.

— Тихо, товарищи! — начал он.— Время у нас в обрез. Поэтому давайте сейчас же составим список желающих вступить в ТОЗ. Первым записываю себя. Лошадь у меня, как вы знаете, есть, а вот семян, пожалуй, маловато... Кто следующий?

— Записывай меня,— негромко сказал Константин Павлович, но его все слышали.

— И меня! — сейчас же закричал Офтин Прокофий.

— Да записывай всех подряд! — заорал Борякин Тюма.— Кто же от такого дела откажется?!

Услышав такое, один парень поднялся и стал пробираться к двери.

— Ты куда это, Киря? — подхватил его за рукав шубы Тюма.— Ты ведь комсомольцем числишься!

— Отстань, Тюма! Живот у меня расстроился. Да пусти, сказано тебе!..— Киря вырвался из цепких рук Борякина, выскочил на улицу и больше не возвращался.

— Этому совместная обработка не нужна. Они с отцом и без твоей помощи управятся! — бросил ему кто-то вслед.

— И мне надо с отцом посоветоваться,— чуть слышно сказал второй комсомолец.

— Ну, этот с Кирей заодно,— заметил Офтин.

— Товарищи, если нет желания — не записывайтесь. Мы силой никого не тянем. Это дело добровольное,— сказал Камакшев и повернулся к Зубкову: — Вот что, Алексей Андреевич. Надо о ТОЗе поговорить со всеми бедняками села. А то получается, что мы создаем его только из коммунистов и комсомольцев. Это будет неправильно.

В конце концов список был составлен. Плуги-бороны, семена и лошади учтены. Выяснилось и то, чего нехватает. Камакшев обещал помочь.

На этом общее собрание коммунистов и комсомольцев закончилось.

IV

Вечером Камакшев, Зубков, Борякин Тюма и фотограф Бояркин проверяли работу ликбеза. Встретившись с Ефросиньей Матвеевной и Кузьминым Васей, говорили о создании в Сивеньках пионерской организации. На второй день знакомство с ликбезом продолжалось. По селу прошел слух, что учащихся ликбеза будут фотографировать, и поэтому на занятия явились все, пришли даже те, на которых давно махнули рукой как на безнадежно недисциплинированных. Явились и те, которые с первого же дня были решительными противниками ликбеза. И ничего удивительного в этом не было: всем хотелось попасть на карточку.

Дом старика Семкина на Грачевке был последним, куда заглянула комиссия. Все Серегины ученики сидели на местах — шел урок громкой читки. Иванкин Иван читал книгу, дав полную волю своим голосовым связкам. Когда он завидел вошедших, покраснел, как мальчишка, и умолк. Все ликбезовцы встали и хором, точь-в-точь, как ученики в школе, приветствовали: «Здравствуйте!»

Урок вскоре закончился. Фотограф, как полагается всем фотографам на свете, начал рассаживать людей по своему усмотрению. Иванкин оказался рядом с Оксей, с которой никогда не ладил и уж, во всяком случае, не сел бы так по доброй воле. Сказанное в равной степени относилось и к самой Оксе. Она пнула локтем Ивана:

— Не жмись ко мне. Увидит карточку твоя жена, она тебе все ребра пересчитает кочергой.

— Из-за тебя, Окся, готов выдержать не то что кочергу, но и оглоблю,— тихо ответствовал Иван, но все-таки отодвинулся и притих.

Серегу Бояркин усадил посредине, рядом с Ефросиньей Матвеевной. Хотел сесть с ликбезовцами и Тюма, но Кузьмин поймал его за руку и привлек к себе:

— Хватит, ты и так уж наснимался. Во всех пунктах лез в первые ряды. Ты, чай, не нарком просвещения.

Бояркин был первым фотографом, который приехал в Сивеньки, и, разумеется, взбудоражил все село, но снимал он не всех подряд, в первую очередь ликбезовцев, которые возвращались с занятий, высоко задравши носы. Остальные жители, стоя у своих ворот или посматривая

в окна, испытывали жгучую зависть. Да и фотограф-то был не простой, не какой-нибудь заезжий бродяга, какие нет-нет да и объявляются в соседних селениях, а городской!

Были безмерно счастливы и хозяева, предоставившие свои дома под ликбез: из Бояркин фотографировал отдельно, «на память». Снял и деда Филю с его женой. Старик остался доволен, сделался не в меру разговорчивым и хвастливым, старуха же по привычке беззлобно ворчала:

— Ну, будя уж тебе, шайтян атя[1]! Пора на тот свет собираться, а ему бы все на карточку лезть!

— Э-э, старуха, ты ничегошеньки не смыслишь в таком деле! Нам с тобой и на том свете эта карточка пригодится. Покажем ее там нашим дедам-прадедам да ангелам-хранителям, пускай полюбуются, какими мы с тобой живыми-то были!

— Тьфу, типун тебе на язык, старый фулиган. С тобой грехов наберешься, не к ангелам угодишь, а в геенну огненну.— Старуха плюнула и вышла в заднюю избу.

V

После обеда ученики снова собрались в школе. Слово «пионер» было на устах каждого. И не только — школьников. Сивеньковские старухи на всякий случай насторожились, отнеслись к нему враждебно, приказывали внукам ни за что не вступать в пионеры, стращали адом и другими божьими карами, рисовали перед ребятами страшную картину, когда по велению разгневанного всевышнего владыки непослушные дети-пионеры будут веки вечные кипеть в расплавленной смоле. Не надеясь, однако, на то, что это подействует на внуков, пускали в дело ремни и прутья. Но ни то ни другое не помогало. Пионер — в этом слове звучало что-то новое, заманчивое, даже немного загадочное.

В школу пришли все без исключения задолго до назначенного часа. Мальчишки и девчонки сидели уже за партами с празднично сияющими лицами и трепетно бьющимися сердцами.

Серега сидел рядом с Костей.

— Ну, ты как, Коська?

---

[1] Шайтян атя — чертов старик.

— Что — как?

— Ну, в пионеры... как?

— Как ты, так и я. Только первым давай ты.

— Ладно,— быстро согласился Серега.

В это время один мальчишка вложил в рот два пальца и громко свистнул. Серега вытолкал свистуна из класса под одобрительный смех учащихся.

Тем временем Тюма проносил по школьному коридору знамя. Не зная, что произошло тут, взял за руку провинившегося парнишку и ввел его обратно в класс. Сереге пришлось примириться с этим, но он все-таки показал незадачливому свистуну кулак.

Тюма поставил знамя на самом видном месте — между доской и счетами на двух высоких ножках.

Вскоре в класс вошли Ефросинья Матвеевна, Петр Андреевич, Алексей Андреевич, Кузьмин Вася и фотограф Бояркин. Принесли с собой и те свертки, которые были завернуты в блестящую бумагу и еще никому не показывались. Таинственные свертки уложили на столе учительницы. Сама Ефросинья Матвеевна осталась за столом, на всегдашнем своем месте, а гости расселись за ученическими партами — чтобы быть незаметней и не очень смущать ребят.

— Дети! — взволнованным голосом начала учительница.— Сегодня у нас с вами большой день, который, уверена, останется в вашей памяти на всю жизнь. Сейчас вас будут принимать в пионеры. Гостями вашими будут секретарь укома партии Петр Андреевич Камакшев и секретарь укома комсомола Василий Кузьмин.

Ребята завертели головами, оглядываясь на гостей.

— Разрешите предоставить слово товарищу Камакшеву.

Петр Андреевич подошел к столу, встал рядом с учительницей:

— Сперва, ребята, мне хотелось бы от имени уездной партийной организации поблагодарить вас за то, что помогли организовать на селе ликбез, научили взрослых читать и писать. Это великое дело сделали вы, ребята!

Ученики зааплодировали.

В класс тихо вошли Маркин, Офтин, Каргин и другие коммунисты, комсомольцы. Расселись на задних партах и стали слушать. А ребята хлопали все горячей, и лица их раскраснелись, и глаза блестели. Костя подтолкнул Серегу в бок:

— Глянь, благодарит нас.

Маркин-младший удовлетворенно кивнул.

Дождавшись тишины, Петр Андреевич объявил:

— А это вам, ребята, подарок от укома партии и комсомола — книги. Примите их, Ефросинья Матвеевна, вместе с большой нашей благодарностью.

Заведующая школой развернула желтую бумагу, вынула книги и, приподняв их, показала ученикам. Класс рукоплескал.

— Какие красивые! — воскликнул Серега, хлопая так, что руки уже горели.

А Костя спрашивал его нетерпеливо:

— Когда же будут принимать в пионеры?

— Теперь слово Ефросинье Матвеевне,— сказал Камакшев и сел рядом с учительницей.

Та рассказала о школе, об учениках, о том, кто как учится, кто помогает взрослым. Особенно много похвал выпало на долю Маркина Сергея, Ярыгина Кости и Вентелева Ермы.

— Мы вручим им сейчас похвальные грамоты,— сказала учительница.

Под аплодисменты и радостный шум класса Ефросинья Матвеевна вручала грамоты, а фотограф снимал каждого награжденного.

— А теперь, дети, с вами будет говорить секретарь укома комсомола товарищ Кузьмин.

— Ребята! В нашей стране появилась новая организация. Ее назвали пионерской и присвоили ей имя Владимира Ильича Ленина,— и Кузьмин стал рассказывать, кто такой пионер, какие задачи ставятся перед ним. Заканчивая, он сказал: — Думаю, ребята, из вас многие мечтают стать пионерами. Я вон вижу Сережку Маркина. Ну, чем он не пионер? Как ты сам-то, Сережа, считаешь, а?

Серега поднялся, лицо его сделалось пунцовым. Однако он превозмог робость, вышел к знамени, возле которого стоял сейчас Кузьмин, и стал повторять вслед за секретарем укома комсомола слова торжественного обещания:

— Я, пионер нашей страны, Сергей Маркин, перед лицом своих товарищей даю клятву...

После клятвы он повернулся к красному полотнищу и коснулся пересохшими от волнения губами его золотистой бахромы. И если бы в эту минуту Сергей глянул на

своего отца, он увидел бы на его глазах слезы...

Кузьмин взял со стола красный галстук и повязал им тонкую шею мальчика. От багряного этого кусочка, вспыхнувшего на Сереге, в классе словно бы стало еще светлее. Галстук как бы в один миг отделил Серегу от всех его товарищей: ведь пока что он, этот галстук, был единственный и горел только на нем.

Затем Кузьмин вручил Сереге пионерский костюм — синие сатиновые трусы и голубую майку. Первый в Сивеньках пионер, по примеру секретаря укома комсомола, поднял руку ко лбу и встал на караул у знамени.

Следующим был принят Ярыгин Костя. Ему тоже повязали красный галстук и выдали костюм — ничего подобного мальчишке и во сне-то не снилось! Шутка сказать: первый раз в жизни он наденет не холщовые портки и рубаху, а городской наряд!

— Я...— начал Костя слова торжественного обещания, но тут же сбился, покраснел еще больше и опустил голову. Ребята засмеялись. Но Костю выручил Кузьмин. Он снова начал говорить слова клятвы, Костя повторял за ним.

Скоро на втором мальчике заполыхал пионерский галстук. В руках Костя держал дивный новенький костюм. Серега поставил его у знамени рядом с собой.

Кусанова Лиза оказалась и тут бойчее всех: подошла к знамени с высоко поднятой головой и без единой запинки произнесла текст пионерской клятвы. За ней стали подходить Вентель Ерма, Петярка, Санька...

— Ребята! У вас теперь целый пионерский отряд. А для него требуется вожак. Вожатый — называется. Кого бы вы хотели в вожатые?

— Серегу!

— Маркина! — отовсюду неслись голоса.

— Я не умею... Я не знаю, что надо делать...— растерянно проговорил Серега, и шрам на его лице, как всегда, при сильном волнении, сделался лиловым.

— Нет, ребята, Сережа, хоть и боевой мальчик, в вожатые ему еще рано. Вот подрастет когда... А сейчас, может быть, Борякина Тюму? Как вы считаете?

— Правильна-а-а! Тю-му-у! — закричали пионеры. И громче всех — Серега, потому что очень этому обрадовался.

Серегу и Лизу избрали помощниками Тюмы. Самому вожатому Кузьмин тоже привязал галстук и вручил но-

вой пионерской организации горн и барабан, сейчас же оказавшиеся в руках Сереги и Лизы.

Ученики повыскакивали из-за своих парт, подбежали к ним. Горн переливался на солнце, блестел, к нему тоже был привязан пионерский галстук.

Камакшев поздравил пионеров с рождением новой организации.

На том и закончился праздник.

Горн и барабан Сергей и Лиза отнесли в нардом, где для пионерского отряда была выделена отдельная комната. До нардома их сопровождал весь отряд — по улице как бы проплыли, мерцая, красные огоньки.

VI

К вечеру гости собрались в Кедровск. У сельсовета уже стояла запряженная лошадь. Не успели выйти из сельсовета, как на Петра Андреевича и Кузьмина Василия набросились женщины, давно поджидавшие на улице.

— Кто из вас главный антихрист? — кричала одна из них.— Ты аль, может, ты?

— Зачем это тебе знать, тетка? — спросил как можно миролюбивее Вася.

— Какая я тебе тетка! — взорвалась женщина.— Жена самого сатаны — твоя тетка! Зачем заманиваете глупых детей в свои антихристовы сети, ну? — наступала она.

— И моей Лизе нацепили на шею какую-то красную тряпку! — уже другая женщина вытащила из-под полы шубы пионерский галстук, и стала всем показывать.— Эт для чего же? Чтоб каждый пальцем на нее указывал и кричал: «Вон идет Лизка-безбожница!» Ой, батюшки, ой, кормилец! Что же они наделали с моей дочерью!

— Это не тряпка, а галстук, и твоя Лиза должна гордиться им,— оборонялся Кузьмин.

— Ах, галстук! Ну, так возьмите его себе! — женщина разорвала на мелкие лоскутки красную материю и бросила в лицо комсомольского вожака.— Завтра же отведу Лизку в церковь исповедываться!

— Женщина, зачем же так? — заговорил вдруг Петр Андреевич.— Давайте поговорим спокойно, разберемся...

— Нечего нам разбираться! Без тебя разобрались! — набросилась первая на Камакшева.— Привыкли языками трепать да глупых людей обманывать!.. Бабы, чего вы глядите на них?! Бейте чем попадя! — она схватила с земли палку и намеревалась ударить по голове Камакшева. Но вперед выскочил Бояркин и нацелился аппаратом на разбушевавшихся женщин. Та, что подняла палку, теперь отбросила ее далеко от себя, заголосила на всю улицу:

— Караул! Убил! Караул! Застрелил! Вай, из ружья, из присталета палит!

— Ты что же так надрываешься, тетка Дуня? — Председатель сельсовета взял женщину за руку.— Где ты увидела ружье и пистолет? Это же фотограф. Он хотел вас на карточку снять.

Когда на площади, против сельсовета, происходила вся эта суматоха, Серега и Костя тоже торопились проводить в Кедровск гостей. По пути они забежали к Лизе, чтобы прихватить с собой. Но дверь в избу была снаружи приперта колом. Ребята отбросили подпорку и вошли в дом. Вошли и в ужасе остановились у порога: посреди избы без чувств лежала Лиза. Она лежала вниз лицом, платьице задрано к самой голове, на спине были видны следы страшных побоев. Руки девочки были связаны веревкой, волосы взлохмачены, из носа на пол стекала кровь.

Серега подошел, тихонько наклонился и тронул ее за плечо. Лиза чуть вздрогнула, но головы не подняла.

— Лиза, Лиза, что с тобой? — спросил Серега.

— А? — девочка словно только что проснулась.

— Кто, спрашиваю, тебя так?..

— А! — Лиза с трудом подняла голову, повернулась к товарищу.— А, это ты, Серега?.. Эт мамка меня так... А галстук отняла. Чуть было не удушила меня им... Возьми меня, Серега, отсюда, а то все равно убьет... Не возьмешь — сама убегу из дома,— сказала Лиза и заплакала.

— Успокойся, не плачь,— Серега вытер ей глаза. Вместе с Костей развязали ей руки.— Собирайся... Пойдем к нам.

Мать Сереги, увидев избитую девочку, всплеснула руками:

— Вай, и это называется родная мать! Что же она наделала с ребенком! Вот лютая!

— Мам, пускай Лиза поживет пока у нас. Мы с Кос-

тей скоро вернемся,— сказал Серега, и они побежали вместе к сельсовету. В это самое время Алексей Андреевич говорил разъяренной Лизиной матери о фотоаппарате.

— Это, дядь Лень,— закричал Серега,— не мать, а баба-яга какая-то! Она Лизу чуть ли не до смерти избила. На пионерском галстуке чуть не повесила!

— Это правда? — спросил женщину председатель.

— Мы вот с Костей только что были у них. Вот спросите Костю! — обиделся Серега.

— Моя дочь — что хочу, то и делаю!

— Это как же так: что хочу? Нет, тетя Дуня, так при Советской власти не делается,— строго заговорил Камакшев.— И тебе придется отвечать за избиение пионерки — дочь она твоя или нет. А вы, товарищ Зубков, сегодня же соберите всех женщин и хорошенько растолкуйте им это! — И он указал на притихших женщин.

Серега подошел к Кузьмину, тихонько спросил:

— У вас не осталось ли галстука? У Лизы мать отняла...

— ...и разорвала тут вот на наших глазах,— закончил за него Кузьмин.— Я, Сережа, лишние галстуки передал Тюме. Тюма, где ты? Иди-ка сюда! — уже с саней крикнул Кузьмин.— Ты тут, друг, смотри. За каждого пионера отвечать будешь ты. А Лизе выдай новый галстук.

— Хорошо, товарищ Кузьмин! — отрапортовал Тюма и тут же повернулся к женщинам, которые собирались разойтись по домам.— А вы куда, гражданочки? Нет, просим вас в сельсовет. Потолковать нам с вам надо!

Гости тронулись. Серега поднял правую руку и отсалютовал им. Камакшев и Кузьмин, широко улыбнувшись, сделали то же самое.

Прошел еще месяц. За это время Зубкову и Маркину пришлось несколько раз наведаться в Кедровск: привезли оттуда для Сивеньковского ТОЗа пять двухлемешных плугов, три сеялки, много разных семян и привели десять лошадей. Петр Андреевич сдержал слово. Сдержал свое слово и фотограф Бояркин — прислал в Сивеньки множество различных снимков. Для сельской ребятни большей радости, казалось, и придумать нельзя было. Серега, Костя и Лиза обежали все дома и раздали карточки.

А во дворах скворцы возвещали об окончательном

приходе весны. Дни стояли солнечные, земля быстро подсыхала. Мужики, объединенные в ТОЗе, несколько раз собирались, все судили-рядили, как им лучше начать совместные работы. Во главе товарищества был поставлен Алексей Андреевич Зубков, покорно взваливший на свои плечи и эту нелегкую ношу. В помощники ему отрядили Маркина.

И вот наступил день выезда в поле. Члены товарищества рано утром уже были возле сельсовета, где, как на выставке, были аккуратно выставлены плуги, бороны, сеялки — весь посевной инвентарь. Каждый заранее знал, что ему нужно делать. Загодя были приготовлены телеги, отсортированы семена, отлажены сеялки, починена сбруя, подкормлены лошади. Вот они уже — в упряжке.

Со стороны нардома появился пионерский отряд. Мальчики и девочки одеты по-праздничному: на белых рубашках и кофточках ярко горели красные галстуки.

Впереди отряда — Серега с горном и Лиза с барабаном. Пионеры дошли до сельсовета и остановились. Как только тронулась вся колонна, Серега высоко вскинул горн. Серебряный звук тотчас же наполнил улицу. Лиза желтыми, гладенькими палочками забила в барабан. Отряд двинулся в сторону полей. Навстречу ему подымалось солнце. Теперь уже на поле полился серебряный звон, поддержанный частым, как сердцебиение, стуком барабана.

Солнечные потоки лились на красногалстучную колонну. Поднявшийся легкий ветерок закинул за плечи алые концы галстуков, растрепал волосы пионеров.

Все, казалось, горело и полыхало вокруг. И Сереге почему-то вспомнилась давнишняя зима и то, как он своим дыханием отогревал, растоплял замерзшее окно своего раннего детства и в образовавшийся крохотный зрачок увидел необычайный мир с полыхающим пожаром.

Серега улыбнулся и зашагал еще веселее навстречу ясному весеннему дню.

1961 — 1967 гг.
г. Саранск

Александр Константинович Мартынов

ДЕТИ СВОИХ ОТЦОВ

Редактор **Т. Петелина**
Художник **В. Красновский**
Художественный редактор **Е. Николаева**
Технический редактор **Л. Чуева**
Корректор **Л. Логунова**

Кодированный оригинал-макет издания подготовлен на электронном печатно-кодирующем и корректирующем устройстве «Север». Подписан в печать 16/I-73 г. Формат бум. 84×108¹/₃₂. Физ. печ. л. 7,0. Усл. печ. л. 11,76. Уч.-изд. л. 12,06. Изд. инд. ЛХ-509. А07812. Тираж 30 000 экз. Цена 38 коп. Бум. № 2.

Издательство «Советская Россия».
Москва, проезд Сапунова, 13/15.

Книжная фабрика № 1 Росглавполиграфпрома Государственного комитета Совета Министров РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли, г. Электросталь Московской области, ул. им. Тевосяна, 25.
Заказ № 689

38 коп.

СОВЕТСКАЯ РОССИЯ